



ЮРИЙ

БОНДАРЕВ



ИГРА



ИСКУШЕНИЕ



Юрий Бондарев

Игра

«ИТРК»

1985

Бондарев Ю. В.

Игра / Ю. В. Бондарев — «ИТРК», 1985

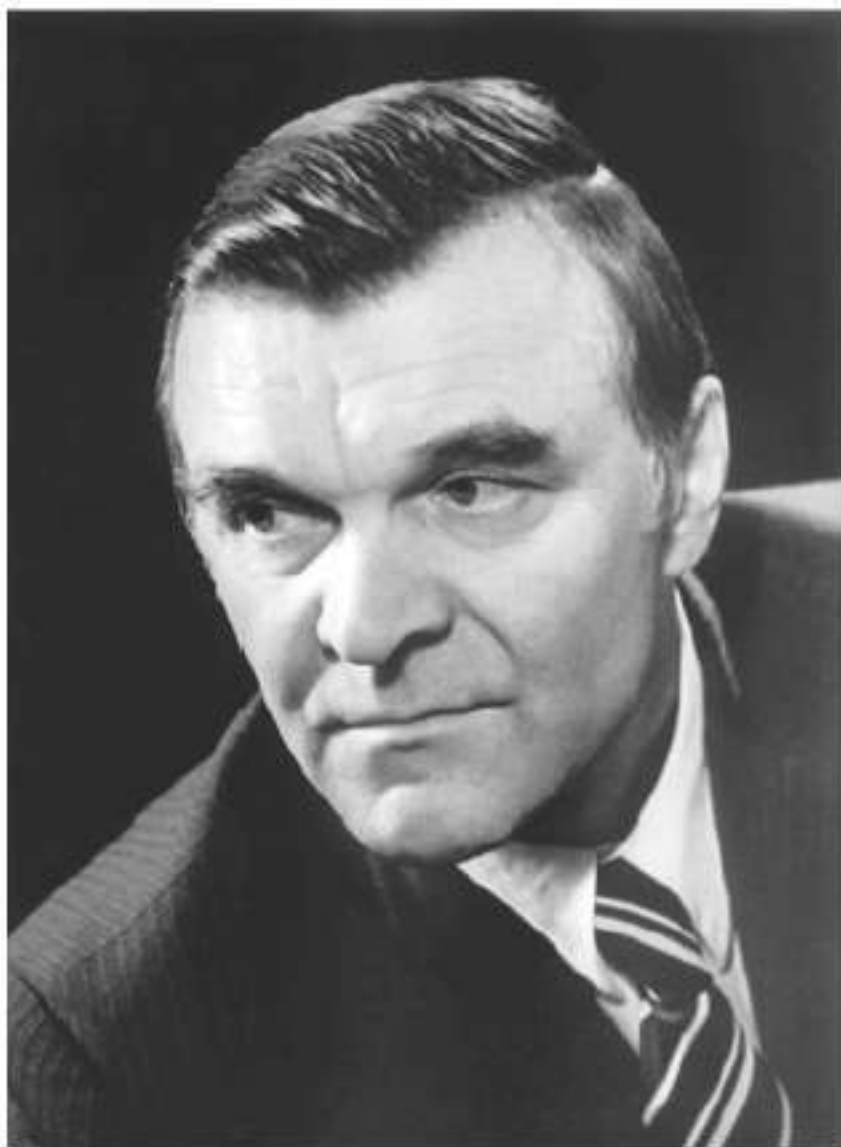
В романе «Игра» известного писателя Ю. В. Бондарева (1924 г.), Героя Социалистического Труда, Лауреата Ленинской и Государственных премий автор обращается к теме русской интеллигенции, ее драматического существования в современном мире, крутых перемен в обществе за последние десятилетия, которые повлекли пересмотр нравственных достоинств человека, раскрывающихся в сложных моральных конфликтах. В центре внимания писателя – борьба людей, которым дорого будущее России, будущее народа, с теми, кто предал его интересы ради собственной корысти, карьеры и личного благополучия.

© Бондарев Ю. В., 1985

© ИТРК, 1985

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	11
Глава третья	16
Глава четвертая	26
Глава пятая	33
Глава шестая	38
Конец ознакомительного фрагмента.	41



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ю. В. Бондарев'.

Юрий Бондарев
Игра
Роман

Глава первая

В такси по дороге из аэропорта Крымов чувствовал недомогание, испарина выступила на висках, было душно, жесткий воротничок прилипал к потной шее, и он несколько раз опускал стекло с ожиданием облегчения, откидывался на заднем сиденье – тогда летний сквозняк, пропитанный теплыми выхлопными газами, обдувал его лицо.

Он смутно удивлялся праздному, казалось ему, многолюдству в эти утренние часы на улицах, на остановках автобусов, у дверей магазинов, видел еще нежаркий блеск солнца в листве, в стеклах витрин, а перед глазами каруселью вращались другие улицы, витрины, столики на тротуарах под тенью красных тентов, другие толпы, одетые в пестрое, цветное, другое солнце, знойное даже в раннее время. И эта сверкающая, чужестранная карусель высокомерно стирала, чем-то унижала скромность московских улиц, всегда грустно трогающих при возвращении из-за границы домой. Но неприятно было то, что в прошлые свои приезды он не ощущал такого болезненного удушья в горле, как будто подкатывали и застревали невылитые рыдания. Он не понимал, что происходило с ним, готовый смеяться над собой и презирать себя за сентиментальность, для которой не было причин.

Да что такое? Ведь все было прекрасно в этом гостеприимном Париже – шесть дней праздничной заграничной шумихи, ни к чему не обязывающих приемов, кондиционированных кинозалов, коктейлей, дискуссий, ночных шоу в кабаре со сладко-пахучим багровым полумраком, бархатными диванами, бледными женскими телами на сцене, а утром тщательное бритье, в завтрак две чашки кофе, придающих бодрость, просмотры фильмов и, наконец, – почетный приз за режиссуру, неожиданный и ожидаемый. Все было на фестивале удачным и благосклонным, но от этих приятных и сумбурных дней за границей оставался вязкий привкус горечи и стыда, о чем не хотелось вспоминать.

Он закрыл глаза, стараясь настроиться на прежнюю московскую жизнь, на ее привычный ритм, где снова начнутся студия, худсоветы, подготовка к съемочному периоду, но почему-то раздражающее беспокойство нарастало, и он подумал: «Я вернулся раньше срока и два дня отдохну дома».

Но когда уже подъехали к дому на Ленинском проспекте, повернули во двор под ветви тополей, когда он вошел в каменную прохладу подъезда, в испарапанную кабину лифта, затем увидел знакомую лестничную площадку и обитую коричневым дерматином дверь с кнопкой поющего в передней звонка, он не мог преодолеть томившее его чувство, сдавливающее горло слезами, и вынужден был, чтобы успокоиться, немного постоять на лестничной площадке.

Он позвонил четырехразовым звонком (семейный шифр), прислушался и позвонил вторично, ожидая услышать за дверью голос жены, дочери или сына, однако за дверью – тишина, в квартирной пустыне ползли невнятные шорохи: дома, по-видимому, никого не было.

«Счастливыми объятиями меня встречают любимая жена и любимые чада», – подумал он, усмехаясь.

И открыв дверь своим ключом, втащил чемодан в переднюю, опавшую теплотой домашней пыли, и вдруг почувствовал, что все-таки ему нежданно-негаданно повезло. Да, он чертовски устал, и хотелось побыть одному, и помолчать, и полежать на диване в бездумной расслабленности, и полистать журналы, просмотреть газеты, пришедшие в его отсутствие письма.

Сбросив пиджак, он прошелся по комнатам. Ясно: семья уехала на дачу, окна во всей накаленной солнцем квартире были наглухо закупорены шторами. Всюду стояла спертая духота, кое-где на паркете, на коврах, на мебели лежали проникшие в щели штор солнечные нити, а в кухне с незанавешенным окном пахло горячей клеенкой, и счет за телефонный разговор, упавший на пол с тумбочки, пожелтел на солнцепеке, полузакрученный в трубочку.

Каждый раз, когда он возвращался из-за границы, было ощущение длительно прожитого вдали ненастоящего, придуманного игрой жизни периода, и ему надо было в разговорах с друзьями освобождаться от чего-то коктейлеобразного, многоречивого, ресторанного, чем вынужден был заниматься некоторое время, теща честолюбие, наслаждаясь собственным любопытством.

И сейчас хотелось смыть с себя тяжкую и вместе с тем игрушечную усталость от своих и чужих искусственных улыбок, интеллектуальной болтовни, парфюмерную сладость чужого

туалетного мыла, в котором было нечто нарочито женственное, химический запах синтетики, пропитавший парижские кинозалы и номер отеля, – все, что было уже позади.

Холодный душ омывал его дождевыми иголочками, вода плескалась с веселым, свежим шумом. Дверь в ванную была открыта, и, казалось, морское эхо отдавалось в пустой квартире. Растираясь полотенцем, он босиком ходил по комнатам, голыми пятками по нагретому паркету и, еще не одеваясь, в столовой сказал вслух: «Ладно, все проходит и все пройдет», – налил рюмку коньяка, выпил, колючая волна ожгла его, и стало как будто легче.

Потом он лежал на диване в кабинете, просматривал вынутые из переполненного почтового ящика журналы, газеты, разные приглашения на встречи, на выставки, разбирал письма, но не читал их, проглядывал лишь обратные адреса, надеясь встретить знакомую фамилию. И будто споткнувшись глазами, медлительно отложил на угол журнального столика голубоватый конверт, где резко бросился в глаза незнакомый официальный штамп «Главное управление Министерства внутренних дел», сразу вызвав у него скользкую тревогу.

«Значит, началось снова... вернее – все продолжается?» И помедлив, Крымов надорвал конверт, бегло прочитал, что ему, Крымову Вячеславу Андреевичу, надлежит явиться 12 июля к следователю Токареву по адресу: Петровка, 38, второй этаж, комната 200-я, имея при себе паспорт или документ, удостоверяющий личность. «Зачем второй раз? Мы уже встречались с ним на студии. Да, Токарев Олег Григорьевич, воспитанный, умный молодой человек с аккуратными усиками. Но что бы со мной ни было, я на Петровку не поеду, милый Олег Григорьевич, я не хочу, чтобы вы стали тенью того, что случилось».

Он в раздумье отложил повестку и начал проглядывать рецензию на фильмы парижского фестиваля, чувствуя какую-то фальшивость принятого минуту назад решения и вульгарную искаженность в оценке своего фильма, наивное противопоставление «социалистической нравственности и душевной чистоты жестокости западных героев, внутренний мир которых напоминает пустую раковину».

«Ну и ловкие ребята наши рецензенты, только зачем этот жалкий примитив? – И Крымов сердито засмеялся, отчетливо вообразив мясистое лицо знаменитого американского режиссера, по происхождению выходца из России, человека талантливого и ядовитого, показавшего на фестивале потрясший всех фильм „Содом и Гоморра“ о гибели сумасшедшего дома, что символизировало смерть человечества, утратившего милосердие. – Мой оппонент Джон Гричмар поохотал бы со мной вместе. „Чистота“, „нравственность“, „высота“ – какие стершиеся слова, бог ты мой, взяли мы себе в доказательство и защиту, вооружились ими с ног до головы. Мы, избранные, невзирая ни на что, присвоили себе ангельскую непорочность, оставив все сатанинское за бугром».

Он уже с раздражением начал читать другую рецензию, где вновь замелькали назойливые фразы о сексе, патологии, безнравственности в фильме Джона Гричмара, и не дочитал до конца, отбросил газету, повторяя вслух:

– Кретинизм, черт бы его взял, кретинизм...

Они вместе получали премии, вместе приглашались на ленчи (два режиссера двух великих держав), каждый вечер встречались в баре отеля после просмотров кинокартин и, встречаясь, угощали друг друга виски и водкой больше чем надо (хотя американца перепить было невозможно), две ночи по приглашению Гричмара провели в клубах, всякий раз спорили о судьбах России, до взаимной неприязни разъединенные противоположностью позиций и в то же время чем-то объединенные – может быть, неутоленным любопытством одного к другому.

Вторая ночь в клубе была особенно изнурительна яростными спорами, чрезмерностью питья и зрелищ, а утром в вестибюле отеля перед просмотром он с больной головой листал на столике «Пари-матч», моля судьбу избавить его сегодня от коктейлей, туго завязанного галстука, от разрушительного яда рассуждений Гричмара и дать возможность передохнуть,

бездумно побродить одному по вечерним улицам Парижа. Огромный вестибюль, не с французской, а с восточной роскошью застеленный толстыми коврами, американское роскошество зеркал, широкие кресла, диваны, обитые красной синтетической кожей, движение фигур возле стеклянных дверей и конторки портье, приглушенные голоса, горькие и теплые запахи сигарет и духов – все было обычным для отеля, виденным Крымовым не раз в других странах, и он изредка скользил взглядом по знакомым и незнакомым лицам продюсеров и режиссеров, до гладкости выбритым или бородатым (два равно встречающихся в современном мире типа лиц), по неумеренно затянутым спортивным фигурам кинозвезд и неизвестных знаменитостей, прелестным, молодым и молодящимся, со следами бессонной ночи в чересчур блестящих глазах. Но что-то мешало его привычной наблюдательности, то ли тяжесть в голове, то ли ртутная яркость в глубинах зеркал, и он видел одновременно всех в этом пространстве утреннего вестибюля, собравшихся после завтрака, и вдруг покрылся испариной, подумав, что все они вместе замечают его наблюдающий взгляд. Он перевел внимание на страницу в «Пари-матч» и в ту же минуту услышал их смех, снисходительно иронические фразы; они говорили о его невежливом любопытстве, с каким он не имел права разглядывать их, и тотчас почувствовал почти физическое прикосновение на своем лице. Он поднял голову от журнала и увидел, что кто-то из группы продюсеров и режиссеров смотрит на него со спокойной пристальностью, кто-то очень знакомый, с проседью, в сером костюме, человек, которого он не однажды встречал. «Я знаю его, но кто это? Кто?» И точно выныривая из давящей толщи воды, он стал постепенно узнавать прическу, лоб, седину в волосах, галстук, стараясь встретиться с человеком глазами, но именно глаза оставались в тени, оттуда неподвижно глядя в его сторону, – и с внезапно окатившим потом слабости, боясь, что задохнется сердце, он понял наконец, на кого похож был этот человек...

Несомненно, причиной галлюцинаций могло быть нервное перенапряжение, он слышал о разного рода стрессах у людей его профессии, но не знал, что подобное случается именно так. «Невозможно, глупости, чепуха! Дурман какой-то!» И тогда он встал, бросил журнал на столик и, возвращаясь к решимости военных лет, твердо и прямо пошел к этому человеку, стоявшему в толпе продюсеров. Но человека в сером костюме уже не было... На его месте стоял французский режиссер Клод Мелье, сухой, жилистый старик с подкрашенными куцыми ресницами; он светски любезно поклонился Крымову, показывая еще влажные от туалетной воды, мастерски начесанные на плешь волосы. И Крымов тоже поклонился, выдал любезно: «Бонжур, мсье», – и, справляясь с неловкостью, прошел в конец вестибюля, к бару, где, как всегда, увидел за стойкой Джона Гричмара, обрадованно замахавшего рукой. Гричмар пришел в этот миг как спасение: «О, я рад тебе, Вячеслав!»

Через день нечто похожее повторилось в самолете, где, казалось, все заграничное, превышенно пестрое, ежедневно связанное с душевным напряжением, тратой сил, кончилось, и в полупустом салоне родного Аэрофлота с милыми стюардессами было светло, легко, слышалась русская речь... Было удивительно и то, что здесь, на девятикилометровой высоте, оказались две мухи, они ползали по стеклу иллюминатора, до золотистости освещенные солнцем, а по горизонту слепили застывшей курчавостью облачные торосы, и плоская равнина нижних облаков представлялась Северным Ледовитым океаном, сквозь прорехи которого в немыслимой глубине едва виднелись затопленные подводные города, волоски дорог, темные леса.

Крымов смотрел на гигантские лохматые айсберги, на мух, ползающих по иллюминатору, и было весело думать о несоответствии величественной высоты, стерильной белизны облаков и двух путешественниц, залетевших в салон либо в Шереметьеве, либо в аэропорту Орли. Как? Для чего залетевших?

И подумав об этом несоответствии и неизбежном «зачем», увидел с наслаждением и особой ясностью самого себя чьей-то властью освобожденным от самолета, от его металлической

материальности, от кресла, в котором сидел (но сохраняющим эту позу в воздухе), увидел себя летящим над белой пустыней, беспредельным сиянием облаков, омываемым ветром и солнцем.

«Я знаю, что со мной было, – уверял он себя, силясь объяснить свое состояние. – Была реализованная в моем сознании мечта. Мне всегда хотелось иметь летательный аппарат вроде одноместного вертолета. И иногда страстно хотелось в конце дня уйти от всех, подняться с земли, лететь без дорог, опуститься где-нибудь на сказочной поляне, угасающей под закатом, где лесная тишина смотрится в озеро... Но в связи с чем я подумал об этом? Тогда в вестибюле отеля я увидел самого себя – одинокого в толпе человека, хорошо одетого, умеющего творить чужие чувства, но лишнего за границей, – и мне стало не по себе... Но чем объяснить, что я сейчас физически испытал давление воздуха в лицо, мучительное замирание в груди и полное освобождение от материального?...»

Стройно покачиваясь на каблучках сапожек, улыбаясь встречающей улыбкой, подошла стюардесса с подносом, на котором пузырилась в бокалах минеральная вода, спросила, не хочет ли он боржом, – она приблизилась к нему из светлого салона (вот оно, прекрасное, материальное в образе женщины), а он молчал, не спеша улыбнуться ей в ответ, слушать милый щебет, смотреть на это внешне совершенное молодое существо, знавшее, откуда он возвращается, и видевшее его фильмы. Все стало грубо реальным по сравнению с мукой томительного замирания в освобожденном полете над бесконечностью закрывавших землю облаков. Он отказался от боржом, попросил коньяку и отвернулся к иллюминатору. Этой замкнутости Крымов раньше за собой не замечал. Он на минуту прикрыл глаза, и в гуле, реве реактивных моторов почудился ему сатанинский вой, крик и плач жертв, духовые оркестры, смешанные с симфоническим крещендо. Крымов пытался уловить, запомнить какую-то определенную ноту, но громовая музыка ежесекундно менялась, нарастала до гигантского рыдания, гремела в уши, как угрожающий всему миру звук Вселенной, и он продолжал думать в полуяви: «Ирина... Все сместилось после ее гибели...»

А по стеклу иллюминатора ходили солнечные спектры, беловолосая стюардесса расстелила салфетку, по-прежнему улыбалась юными губами, вновь спрашивала его о чем-то, – он не расслышал, равнодушный к еде и этой ее заученной улыбке. И тут мелькнула неожиданная мысль, что сейчас захлебнутся реактивные двигатели, самолет гибельно споткнется в воздухе и всей стальной массой начнет валиться вниз, падая с высоты.

Как страшно закричит она, эта стюардесса с юными накрашенными губами (никто их уже не поцелует никогда), и как страшно, дико, предсмертно закричит весь салон!.. «А я? – задумался он тогда. – Что сделаю я в тот момент? Буду ждать последнего удара и прощаться с жизнью? Я знаю только, что не буду кричать и молить о пощаде...»

Он поморщился, глядя на мух, ползающих по стеклу иллюминатора, и ему захотелось вернуть нарушенное счастливое состояние – парение, как во сне, голубиным перышком на воздушных волнах, когда нет ни страха, ни обязанностей, – какое блаженство!

«Страх? Я подумал о страхе?»

Телефонный треск будто ударил его в висок, и он, стряхивая дремоту, вскинулся на диване, машинально потянулся к трубке на журнальном столике. И быстро отдернул руку – пока еще никому не было известно, что он вернулся в Москву, а первый разговор по телефону из дома – это уже быт, обязанность, забота. Ольга не знала, что он приехал на два дня раньше, поэтому не могла звонить с дачи.

И он снова лег, мечтая погрузиться в блаженное плавание забытья, но повторный звонок заставил его снять трубку.

– Да, – тихо сказал он, ожидая услышать бодрый голос директора картины Молочкова, и поторопил, удивленный осторожным дыханием в трубке. – Да, я слушаю, говорите, не стесняйтесь, если уж набрали номер!

– Это я-а, – протяжно запел почти детский голос, засмеявшись. – Здравствуй, папа. Ты приехал? А я позвонила наугад – и неожиданно тыходишь. Просто потрясающе! Мы на даче. По просьбе мамы я звоню тебе из автоматной будки возле пляжа. Она предчувствовала, что ты приедешь раньше. Я рада, папа...

– Танька, милый мой пес, – заговорил Крымов растроганно, с внезапной хрипотцой. – Я тебя не видел и не слышал целое столетие. Как вы жили без меня? Как мама?

– Мама? Потрясающе.

– В каком смысле потрясающе?

– Я думаю, что мама – самая терпеливая женщина в мире, но она очень скучала без тебя. Это по секрету. Не выдавай. Знаешь, почему? Вечерами она сидела в твоём кабинете и читала... О ужас! – Она озорно завизжала. – Тут к автомату подошла целая компания за мной и монеткой стучит в стекло. Папа, я рада, и мы тебя ждем! Пока! Машина в гараже. Мы добрались на электричке.

– Передай маме, что я задержусь по делам в Москве, приеду завтра, – сказал Крымов и, слушая звуковые пунктиры в трубке, опущенной дочерью в неведомой автоматной будочке возле загородного пляжа, внятно ощутил вкус Ольгиных губ, вопросительный взгляд ее темных глаз снизу вверх, когда она подставляла губы при встрече, ее ласково-спокойное: «Ну вот и ты», – и с неприязнью к себе подумал, что способен не говорить ей правду, скрывать то, что унизило бы ее, невинную ни в чем.

И насильно взбадриваясь, он соскочил с дивана, раздвинул шторы, раскрыл окно в солнечную искристость тополиной листвы, вдохнул асфальтовый жар городского дня. Лицо защекотал тополиный пух, летевший по всему юго-западу Москвы, поплыл в кабинете, и Крымов сдунул пух со щеки, подошел к зеркалу.

«Знаю ли я его? – подумал он иронически, рассматривая в зеркале усталого, сидящего человека с прищуренными серыми глазами, кровно родственного, близко знакомого и вместе с тем незнакомого, и вдруг вспомнил утренний вестибюль отеля, того, другого человека с несвежим лицом в толпе знаменитостей, праздного, хорошо одетого, чужого здесь, и содрогнулся от стыда, от бессмысленности шестидневного пребывания в Париже. – Что же это за дьявольщина? Кажется, я живу какой-то нереальной, косвенной жизнью. Хожу, ем, произношу необходимые слова, еду за границу, получаю ненужные премии, а душой там, в том страшном июньском дне, когда погибла Ирина».

Глава вторая

Обычно Крымов входил в приемную уверенной походкой человека, знающего, что здесь, перед солидно обитой благородной кожей дверью, не пропускающей студийные шумы в недра директорского кабинета, его встретит неизменно приветливая, аккуратно причесанная секретарша, и в ее сопровождении он войдет в кабинет, уже издали обласкиваемый всплеском рук Балабанова, раскатистым возгласом: «Да кто это к нам собственной персоной!» – и, распространяя уважительную доброту, умиление, из-за огромного письменного стола выкатится жизнерадостным старым ежом Иван Ксенофонтович и распахнет объятия, точно готовый умереть тут же, на месте, от заблиставшего в его кабинете ослепительного солнца.

Но когда Крымов на следующее после приезда утро вошел в приемную Балабанова, выказывая секретарше обычную дружелюбную беспечность: «Как самочувствие, Ниночка?» – тотчас что-то новое ощутилось им в ее вялой ладошке, в пустоватом взоре поверх его головы, и было что-то новое в ее фразе, когда, не пропустив его сразу, она мгновенно скрылась за дверью: «Я сейчас узнаю». И через минуту, кивком приглашенный ею в кабинет, он почувствовал, что ветер, должно быть, изменил здесь направление со дня отъезда во Францию.

– А, заходи, заходи, парижанин! – проговорил грудным басом Балабанов, против обыкновения сидя за столом, не подымая ежеподобной головы от бумаг, которые вроде бы сосредоточенно читал, и рукой махнул на кресло против стола. – Прошу. С приездом. Остальные послезавтра прилетают? Н-да-с. Поздравляю с международным призом. Капитализм гнилой отметил, и Слава Богу. Пусть чихают и утираются. Ну а что раньше времени прискакал, Вячеслав Андреевич? Париж есть Париж: модные женщины, роскошные витрины, бары, кальвадос... – продолжал он гудящим голосом, углубленный в бумаги, прикрывая опущенными бровями крошечные глаза. – А ты раньше сроку! Неясно-с. Игривый город, игривый... Н-да-с!

И Крымов, увидев эту фальшивую занятость, равнодушное небрежение, чего даже в намеке нельзя было представить совсем недавно, сел в кожаное кресло и нетерпеливо поморщился при последней фразе Балабанова:

– Кто-то хорошо сказал о Париже: город городов...

– Бары, витрины, кальвадос – ребяческая сказка для взрослых дураков, – с досадой перебил Крымов, бросая недокуренную сигарету в чистейшую пепельницу на столе Балабанова, наполненную скрепками. – Вы, насколько я понимаю, серьезно заняты, Иван Ксенофонтович? Может быть, зайти, когда вы освободитесь от увлекательного чтения? Назначьте время – я подожду.

– Н-да-с, дорого куплен контрабас... Н-да-с, все мы дураки.

Балабанов раздвинул одутловатые веки и астматически задышал, засучивая рукава сорочки, как для борьбы, недовольно повел раскосмаченными бровями в сторону пепельницы, затем, словно дохлую мышь, взял двумя пухлыми пальцами окурок и бросил его в мусорную корзину под столом, поплевал на пальцы.

– Н-да-с, сожалею, бросил курить пять лет назад, – проговорил он напоминаяще и в настороженной рассеянности пошевелил бумаги на столе. – Чем же мне обрадовать вас, многоуважаемый Вячеслав Андреевич? Очень хотел бы обрадовать, очень, но – чем?

– Ничем сверхъестественным, – ответил Крымов, еще не вполне догадываясь о причинах этой сухости и уклончивости Балабанова. – Раньше срока я приехал из игривого, как вы заметили, города только потому, что через месяц начинаются съемки моей картины. Меня интересует сейчас главным образом только это, – договорил Крымов, подчеркивая нежелание подделываться под что-то неясное, сложившееся в его отсутствие, и, подчеркнув интонацией «только это», продолжал официально-любезным тоном: – Надеюсь, Иван Ксенофонтович, на студии не изменилось отношение к моему сценарию? Если изменилось, то в чем?

– Всею душою хотел бы вам помочь, всею душою... – Балабанов с полуопущенными веками перебирал скрепки в пепельнице. – Но... Неужто вы не понимаете?

– Я хочу понять, – с тихой досадой произнес Крымов, – что вы решили с моей картиной, черт возьми?

– Н-да-с, позволю огорчить к общему сожалению. – Балабанов опять астматически, свистяще задышал, засучивая рукава на бревнообразных волосатых руках. – Как вы можете, Вячеслав Андреевич, снимать картину сразу после таких трагических обстоятельств, вы уж меня извините?... После гибели Ирины Скворцовой... у вас нет главной героини. На грешную землю опуститься придется. Н-да-с, дорого стоит контрабас!

– Оставьте свои контрабасы, Иван Ксенофонтович, – сказал Крымов сухо. – Вы со мной неискренни. – Я прошу объяснить, что произошло вокруг картины, и прошу не лгать мне и не водить за нос, с вашего разрешения.

«Почему я сказал „лгать“? С какой стати?»

– А я хочу заметить, что директор студии пока еще я, – выговорил Балабанов, плотно багровея, отчего седой ежик его волос рядом с малиновой багровостью широкого лба приобрел первозданный цвет выпавшего снега. – Не вы, извините, а я отвечаю за производство. И за вашу картину в том числе, Вячеслав Андреевич! Несмотря на вашу известность, которая, смею сказать, вскружила вам голову! – крикнул он толстым басом, все так же тревожно копясь короткими пальцами в пепельнице среди скрепок. – А вы, как можно понять, не хотите нести никакой ответственности за свою картину, будто вам все позволено! Шалите, шалите, Вячеслав Андреевич, очень уж как-то!..

– Ответственность? Шалю? – пожал плечами Крымов. – Что за нелепость!

– А, не притворяйтесь и не наивничайте, Вячеслав Андреевич! – Балабанов отодвинул пепельницу, веки его наконец вздернулись, и оловянного цвета глаза поискали что-то на переносице Крымова, загораясь колючим огоньком. – Я зависимый человек и, как бы я лично к вам ни относился, ничем не могу сейчас помочь, несмотря на ваши требования не лгать, – проговорил он оскорбленно и еще гуще побагровел. – Я сожалею... И сомневаюсь, что эту картину придется снимать вам. Это уже не в моей компетенции.

– Сомневаетесь? Почему? А в чьей компетенции?

– Вы отдаете себе отчет, Вячеслав Андреевич, что в связи с тем, что произошло в вашей съемочной группе, вам угрожает суд? Или вы считаете, что на вас, человека известного, не распространяются советские законы?

– То есть?

Он произнес это «то есть», и душное чувство стало надвигаться тоской, неумолимым рычажком поворачиваться в его душе, что началось после того рокового дня, когда, казалось, надолго приостановилось естественное движение жизни и он, Крымов, не скоро вернется к работе. Но перед отъездом во Францию состоялся часовой разговор с Балабановым, сожалевшим о происшедшем, скорбно сочувствовавшим, искренне заинтересованным в продолжении работы над фильмом, и эта исходившая теперь от директора студии сухая официальность, к которой он из осторожности прибегал нечасто, вызвала у Крымова усталое отвращение.

– По-моему, вы сказали – суд? – проговорил Крымов, выказывая притворное удивление. – За что же меня хотят судить?

Балабанов перестал копошиться в скрепках, раздраженно махнул лопатообразной ладонью.

– Позвольте вам доложить, Вячеслав Андреевич, – заговорил он, задыхаясь, – что и меня приглашали в следственную, так сказать, инстанцию... по поводу того невиданного... невероятного... Я говорю об этом трагическом... Об этом чрезвычайном деле...

– Выражайтесь немного определеннее, Иван Ксенофонтович. Я вас с интересом слушаю.

– Как выяснилось, Вячеслав Андреевич, вы были в интимных отношениях с трагически погибшей актрисой Скворцовой, потому и взяли ее на главную роль...

– Если это и так, то какое это имеет отношение к чрезвычайному делу, как вы изволили деликатнейшим образом выразиться?

«Странно – я опять вижу себя со стороны, – подумал Крымов, разглядывая щекастое, налитое кровью лицо Балабанова и вместе с тем немного затуманенно различая в кресле напротив стола самого себя – свое лицо с тенями утомления под глазами, летний костюм, голубоватую, свежую, но ставшую влажной под мышками сорочку. – Сколько лет вот этому человеку с сединой в волосах? И похож ли он на внешне respectable убийцу своей любовницы, на героя какого-то детективного зарубежного фильма, из жизни самовлюбленных интеллектуалов?»

– Вы повнятнее выразите, Иван Ксенофонович, что конкретно вы имеете в виду? – повторил Крымов бесстрастно. – И вообще, что вы можете утверждать, не зная ровно ничего? Вернее, не зная ни хрена, говоря по-солдатски...

– Осторожней, осторожней! – выкрикнул Балабанов и затряс тяжелыми щеками. – Вашими делами сомнительного свойства, мягко выражаясь, занимаются другие организации, а я не желаю ими интересоваться! Что же касается вашего безнравственного поведения по отношению к водителю студийной машины Степану Гулину, то здесь...

«... то здесь он, как директор студии, делает выводы. Впрочем, со стороны это и смешно, и непостижимо: я ударил шофера! Интеллигентный человек... Но что бы сделал этот благодушный Балабанов, когда она лежала без сознания на траве, а машины на месте не было? Что он, Балабанов, сделал бы, увидев кольца губной помады на окурках чужих сигарет, торчащих из пепельницы в дверце машины, прибывшей наконец через сорок минут? Испытал бы он ту ярость против шофера, куда-то уехавшего (вероятно, подвозившего дачников), когда она в это время умирала? Да, непостижимо. Но Балабанов – многоопытный лицедей. Должно быть поэтому мне особенно неприятен его вибрирующий бас, краснота его лба и шеи, его ежеподобная голова и, главное, его ежиные глазки, которые он упорно прячет, сохраняя солидность, опасаясь посмотреть на меня».

– Вполне могу вообразить, как вы перестрадали в том серьезном учреждении, отвечая на вопросы. Приношу извинения за доставленные вам неприятные минуты, – насмешливо проговорил Крымов, глядя на беспокойно заелозившие брови Балабанова, и вновь увидел себя в затянутой туманцем дали: овал бледного лица, та же поза в кресле – и больно кольнувшее опасение впервые серьезно обеспокоило его: «Что же я – до предела устал? И не могу выйти из штопора? Так и пропаду».

Балабанов сказал густо:

– Вы правы, не испытывал удовольствия, отвечая на вопросы, н-да-с!

– Вы недоговорили: дорого стоит контрабас. Однако, надо полагать, ваши ответы не были одного только черного цвета. Поэтому я не спрашиваю, Иван Ксенофонович, что и как вы отвечали. Я хочу другое знать: что вы решили с фильмом в дни моего отъезда?

– Сожалею. Снимать вы пока не будете.

– Что значит «пока»?

Крымов оттолкнулся от подлокотников и быстро встал с напряженностью, с секундной темнотой в глазах («О, как мне нехорошо, какая слабость!»), и тотчас перед ним – через стол – возникла неуклюжая фигура Балабанова, покатоплечего и толстого в поясе, всполошенно поднятого из кресла силой какого-то страха, смывшего багровость с его лица. И Крымов, дивясь смешной мысли, представил, как растерянно вскрикнул бы он и отшатнулся, опрокидывая кресло, этот осторожный еж Балабанов, если бы только одним пальцем погладить его сейчас по крупному носу, говоря: «Милый вы мой страдалец за истину».

– Извините, я, кажется, испугал вас, – сказал Крымов, насмешливым наклоном головы успокаивая Балабанова. – Во всех смыслах вы не сдерживаете свою буйную фантазию, и это вас далеко уводит. Так что же означает «пока»? – повторил он. – Пока, пока... Пока я не осужден, пока не в тюрьме, ответьте: кто принял это решение? Вы? Комитет по делам кинематографии? Посоветовало серьезное учреждение на Петровке?

Балабанов надел пиджак, висевший на спинке кресла, и, внушительно застегиваясь, затягивая, как корсетом, круглый живот, заговорил с придыханием:

– Я тоже прошу извинения, уважаемый Вячеслав Андреевич! Мне надобно сейчас уезжать. Но!.. Помилуйте! – И он сделал плачущее лицо, затоптался подле кресла, растопыривая руки. – Помилуйте, дорогой! Неужели после того невероятного, что произошло, вы еще надеетесь? Вы еще требуете? Вы еще иронизируете? Да вы по земле ходите или в небесах витаете? Да вы отдаете себе отчет, в чем вас обвиняют? Я ведь уважал и любил вас...

– Обвиняют? – холодно удивился Крымов и прибавил учтиво: – Благодарю за полуискренность последней фразы. Я отдаю себе отчет, что не вы решаете мою судьбу, Иван Ксенофонович. Всего наилучшего!

«Какой бессмысленный, несуразный разговор! Зачем он был нужен?»

Перед отъездом на парижский фестиваль Балабанов пригласил Крымова к себе в кабинет, добродушно шевелил бровями, угощал чаем, настоятельно убеждая, что в данное время, кроме него, Крымова, послать к капиталистам некого, а ему после всего случившегося развеяться надо, и полезно на буржуазию поглазеть, и себя показать, и какой-либо приз наверняка в Москву привезти, на что надеется и он, Балабанов, и люди рангом повыше. Говоря так, он тыкал чайной ложечкой в направлении потолка, похохатывал, прихлебывал чай, и обычная его шумность, оживленное засучивание рукавов (точно нетерпеливое приготовление к важному делу) – все было знакомо Крымову не один год, все должно было свидетельствовать, что Балабанов добрый старикан, меценат, либерал со всем известной особенностью моментально багроветь и от удовольствия, и от негодования, громогласно распекать подчиненных, что, в общем-то, не приносило вреда никому, ибо он не был любителем кляуз и интриг на студии, всякий раз сглаживая, заминая возникающие в съемочных группах обострения.

Но сейчас Крымов выходил от Балабанова с ощущением тупого разрушительного наваждения, обманной подмены прежней привычной реальности нелепой новой, еще полностью не осознанной им. А едва он переступил порог директорского кабинета, секретарша в приемной с непроницаемым лицом дернула плечиком, затем деланно ласково сказала кому-то солидному, длинновласому, в замшевой куртке, сидевшему на диване: «Заходите, товарищ Козин! – и тот, вскользь и озлобленно глянув на Крымова, поплыл к двери с достоинством оскорбленной знаменитости, которую заставили долго ждать.

«Экий глупец этот Козин», – подумал Крымов, узнав режиссера с телевидения, неизменно льстиво-приветливого при встречах, расплывающегося в медовых улыбках и незнаваемого теперь с этим пронизанным высокомерной злобой взглядом.

Однако более всего мучило потом то, что, по давнишней привычке быть безобидно дружелюбным, безобидно ироничным с коллегами, он по инерции кивнул Козину и тут же со стыдом проклял свой кивок, вроде бы имеющий значение слабости, и даже приостановился в приемной.

– Не сердитесь на старого глупого старикашку, не поимейте обиду, о великие соплеменники! – сказал он ёрнически-умиленно, с монашеским истовым поклоном, ставшим почему-то в последнее время модным, как и сентиментальные мужские лобзания в актерской среде, и, робко покашляв в кулак, ссутулясь, бормоча «чичас я, чичас», услужливым жестом лакея из пьесы прикрыл из коридора дверь, с удовольствием заметив при этом обмершие лица Козина и секретарши. – Клоун, паяц, грошовый актер, – сказал он вслух и засмеялся в полутемном коридоре, презирая себя за то, что было противно ему, но с чем не мог и не хотел сейчас спра-

виться, неизвестно почему. «Да что это за нелепое паясничанье! Как будто я в неумной гордыне лишаю всех способности быть разумными людьми. И какой же второй человек во мне подсказывает эту игру, которая противна моей душе?»

Но, идя по студии в съемочную группу, попадая то в затемненные туннели коридоров, то в солнечные обвалы обильного света на стеклянных галереях, за которыми открывался студийный двор (а там над тополями стояло счастливое сияние летних облаков), он снова вспомнил день гибели Ирины, похожий на сегодняшний день жарой, блеском, зеленью. Тогда он тоже шел в съемочную группу, а она ждала его в комнате директора картины, чтобы поехать в Спасский монастырь на освоение природы, где предполагалась съемка одного из эпизодов. В тот день он шел по этому коридору не сомневающимся в прочности всего земного человеком, и было у него утреннее, свежее настроение. Все складывалось удачно, обещающе, найдена наконец и утверждена актриса на роль главной героини, и съемки должны были начаться в августе.

Теперь в закоулках и переходах многочисленных коридоров ему поминутно встречались знакомые лица, одни будто бы случайно отворачивались с деловым выражением спешащих людей, другие, похоже было, здоровались неуловимым движением подбородка, иные жадно засматривались прямо в зрачки с остренькой неутоленностью любопытства, которое терзало многих, готовых и защищать, и осуждать его за щекочущую нервы тайну смерти молоденькой и талантливой актрисы.

Глава третья

Зимой она жила на Ордынке, у родственницы, но в начале лета переехала в простенькую гостиницу «Балчуг», сохранившуюся на Пятницкой, против старого моста через Канаву. Это был уголок относительно тихий, замоскворецкий, где, мнилось, понемногу кончалось буйство центральных улиц с их бегущими толпами на переходах, нескончаемым сверканьем машин, грохотом, вонью выхлопных газов, очередями за мороженым и соком, переполненными до банной духоты кафе, людскими круговоротами на Театральной площади, в Столешниковом, на Петровке. Уже близ гостиницы узкие улочки по ту сторону Канавы напоминали бывший купеческий город некой обманчивой уравновешенностью, крошечными булочными с тюлевыми занавесками в витринах, старомодными зеркалами парикмахерских (опахивающих из дверей облаками «Шипра»), древними липами, еще оставшимися там, где раньше были заборы, арками ворот, голубятнями в заросших травой двориках. Эту часть Москвы с открытым небом, не всюду уродливо и прямоугольно загороженным американоподобными чужестранцами, Крымов снимал в довоенных эпизодах картины о сорок первом годе и полюбил скромный уют этих не полностью разрушенных переулков и тупичков.

Когда в один жаркий полдень он подъезжал к «Балчугу», то с радостью узнавания заметил и жидкую тень деревьев на сонной набережной, и сонную воду Канавы, и брызжущую радугу поливальной машины, недоумевая, зачем Ирина придумала встречу в гостинице, вероятно, прожаренной солнцем в эти часы. Но, вспомнив ее по-детски вскинутую голову, уголки ее губ, приподнятые улыбкой, ее наивную театральную фразу: «Назначаю вам деловое свидание в „Балчуге“, – он понял, что это игра, в которой ей интересно и приятно было его участие. И он согласился не без любопытства, и в вестибюле гостиницы молодой портье не остановил его, не спросил, к кому он идет, только кивнул приветливо, видимо, предупрежденный ею, а когда на втором этаже дошел по малиновой дорожке до ее номера в конце коридора, сразу вообразил за дверью маленький номер, зеленый от лип за окнами.

– Пожалуйста, входите. Я с нетерпением жду. Но, к сожалению, без бального платья. Меня можно простить?

И он увидел в раскрытую дверь ее взгляд, устремленный ему в глаза с выражением веселой доверчивости, что обычно рождало и сложность, и простоту в общении с ней.

– Не так ли встречались в добром девятнадцатом веке? – сказала она и сделала реверанс–Здравствуйте, Вячеслав Андреевич!

– Возможно, и так, – шутливо согласился Крымов и не сдержался, легонько обнял ее, чувствуя, как она вздрогнула в растерянности, вся отдалась его рукам, опасливо прижимаясь к нему и, казалось, даже озябнув от этого объятия. – Каковы ваши намерения? – спросил он галантно. – И куда ехать прикажете?

– Я сейчас все продумаю и посоветуюсь кое с кем, – сказала она строго и отошла, коснулась носом зеркала и вздохнула. – Нет, нет, на бал, я думаю, не стоит, рано. А не поехать ли нам в Австралию? Во-первых, там на каждом шагу чудесные кенгуру с кенгурятами...

– И как это ни странно, люди ходят вверх ногами, – сказал он улыбаясь. – Но, может быть, нам стоит заменить Австралию на что-нибудь отечественное? Сокольники, например. Побродим там, пообедаем, а потом поедem на студию. В три часа нас там ждут. Сделаем кинопробы. Кинематограф даже интереснее Австралии, Ирина, вот увидите.

– Хорошо. Согласна на отечественное. Без общества кенгуру.

Он долго не был уверен, что она даст согласие сниматься. В тот год была снежная зима, лютые морозы, метельные вечера в однокомнатной квартирке ее родственницы, уехавшей в Архангельск, и медленное узнавание, поражавшее его.

В один ненастный вечер он отпустил такси на углу, пошел пешком по Ордынке, закутанный с ног до головы метелью, еле видя впереди на тротуаре светлые пятна от окон, где вьюжную пыль закручивало спиралями, а сверху мимо скрипящих фонарей снег то плыл наискось, то пронесился белыми волнами, и везде было ярое, хлещущее неистовство. А он шел, наваливаясь на ветер, и в нем подымалось ощущение физической полноты жизни, здоровья, непонятного умиления. Он позвонил, она открыла дверь, он снял в передней заснеженную, продутую стужей дубленку, возбужденно сказал:

– Зима.

Она вскинула глаза, в них промелькнуло выражение счастливого соучастия.

– Метель на улице, да?

– Метель.

– Снег кружит?

– Снег.

– Холодно и, наверно, фонари... скрипят и качаются. Хорошо сейчас ехать куда-нибудь в поезде и слушать вьюгу, правда? А я вас очень долго не видела. Вы как будто вылезли из саней, и от вас пахнет степью.

И она прислонила ладонь к его холодной щеке.

– Но уверена, вы ни по кому не скучали. Пожалуй, забыли обо всем на свете на своей студии среди суеты.

– Суета была, – сказал он и невольно обнял ее, целуя в изгиб шелковисто-мягкой брови.

– Я хочу, чтобы вы не уходили сегодня, – прошептала она, отодвинулась с затаенным страхом, села на диван и по-детски погрозила пальцем ему, затем самой себе, смешливо говоря: – Спятели оба. Конец света.

Он тоже сел рядом, а она тихонько легла, вытянула руки, спросила загадочным шепотом:

– Скажите, в чем смысл жизни?

– То есть? В каком отношении?

– В торжественном.

– Вы думаете, Ирина, что кто-нибудь может ответить точно?

– Но ведь все-таки должен быть какой-то главный смысл в том, что происходит между вами и мной. Вы ведь меня не любите. Разве не так?

Она прикусила губу, и ее зеленые глаза незащищенно засветились лукавством.

– Нет, я не то спрашиваю. Скажите, неужели вам что-то интересно во мне?

– Ну вот...

– Вы не хотите ответить?

– Я сейчас шел и думал о вас, Ирина. Я думал, как вы иногда таинственно улыбаетесь. В улыбку Джоконды был влюблен Леонардо да Винчи...

– А вы?

– Обо мне и говорить нечего.

Она ответила ему откровенно радостной улыбкой.

– Нет.

– Что?

– Ничего не знаете.

– Что не знаю?

– У меня просто талант обаяния, и все. – Она боязливо обожгла глазами самые его зрачки. – Значит, такие, как я, вам нравятся? И наверно, вы хотите, чтобы я хотя бы ненадолго была вашей женой? Или нет?

– Хочу. И не хочу. Вы – девочка из другого мира. Из другой галактики. С летающей тарелки.

– А вы руководите мной, – сказала она шутливо и с опаской отодвинулась от него: – Руководите, вы ведь все знаете. Я подчинюсь немножко.

Они не были близки, и он наклонился, осторожно целуя ее сомкнутые щекотно-колкие ресницы, а пальцы его гладили, скользили по мягким волосам, по тонкой выгнутой шее, и тут он вдруг почувствовал ее слабые детские позвонки, робкие, стыдливые движения ее тела и, охваченный пронзившей его жалостью, отдернул руку с желанием встать. А она, закрыв глаза, запрокинула назад голову, влажно белели сцепленные зубы, открытые ее полупечальной, полурадостной улыбкой; она прошептала:

– Наверно, так бывает, когда умираешь. Очень страшно...

Он видел ее непостижимое в своей влекущей изменчивости лицо, улавливал знобящий ветерок ее шепота, и на какой-то миг хотелось вообразить, что ему, вполне серьезному, опытному человеку, не пятьдесят с лишним лет, а она не моложе его больше чем в два раза, что он влюблен без памяти, как был влюблен в послевоенные годы в Ольгу, подчиненный наваждению, дурману, от которого невозможно было спастись. Но, обнимая Ирину, он почему-то испытывал охлаждающее состояние терпкого предела, виновато царапающую жалость.

– Ирина, – сказал он, – нам не следует, пожалуй, забывать о том, что мы рискуем оказаться смешными. Я говорю о себе, конечно.

Он сейчас помнил: в тот зимний вечер на Ордынке она, стараясь улыбаться, смотрела ему в грудь моргающими глазами, и в них пеленой накапливались слезы. Она молчала и молчанием как будто умоляла его о какой-то помощи, а он, чтобы заглушить ноющую муку неопределенности, говорил успокаивающе:

– Ну что вы, право? А то я тоже заплачу. Так и будем реветь оба.

– Меня любят собаки и дети, – неожиданно сказала она тихо, вытирая слезы кулачком. – Стоит на улице любой псине сказать: пошли, дурачина, – и она будет бежать следом. Я замечала на бульварах – дети подходят ко мне, как только посмотрю... А вы не любите меня, а жалеете. Любите вы совсем другое. Но я не марсианская женщина. Скажите, за что сильный мучает слабого?

И она заглянула в его зрачки своей лесной зеленью беззащитных глаз. Он, оглушенный ее горькой убежденностью, сказал в полшутку:

– Вы принимаете меня, Ирина, не за того, кто я есть, а за того, кем я не хочу быть.

– Все равно вы сильнее меня. Мужчина – царь природы, добытчик, защитник, а я – слабая особа женского пола, которая должна печь хлеба и рожать детей.

– Поэтому сильнее вы.

– Я-а-а? – протяжно спросила она. – Это серьезно или вы, как всегда, шутите?

– Да нет, конечно. Я сильнее. Во-первых, у меня стальная воля, и я не могу видеть чужих слез, особенно когда плачет женщина. Во-вторых, когда бьют ребенка, я готов ненавидеть все человечество за его жестокость. Но чаще меня охватывает жалость ко всем и ко всему, и тогда я готов простить людям самые страшные прегрешения. И себе, конечно. Царь природы, лишенный власти и не желающий власти. Пока продолжается род человеческий, царица природы – женщина.

Она остановила его слабым движением бровей.

– Нет, я вижу вашу доброту и любопытство ко мне, к некой бедненькой и славненькой девочке из балета Большого театра, которая так хорошо начинала. И с которой случилось несчастье. Ах, как я не люблю, когда меня жалеют и сочувствуют: «Как же тебе не повезло, Иринушка!»

– Жалеют и сочувствуют? А так ли уж это плохо?

– Плохо... Я понимаю, какое несоответствие между нами. Между вами и мною. Вы уже много сделали. А я как будто взломала замок и вошла в чужую богатую квартиру. Но я любила танец с детства. И мне не нужно было ничего. Ни денег, ни славы, ни ценностей, ничего. Зна-

ете... – Она опять посмотрела на него несмелым взглядом, и ее губы изогнулись в виноватой улыбке. – Знаете, я иногда очень сержусь за это на себя, очень... когда бывает не по себе.

– Я могу вам чем-нибудь помочь, Ирина?

– Мне – никак. Не нужно. Я справлюсь. У меня все хорошо.

– Значит, все хорошо? – повторил он.

– Абсолютно, – сказала она и захлебнулась слезами, прерывисто втягивая воздух носом, спросила сжатым голосом: – Слышите?

– Что? – Он обратной стороной пальцев вытер жаркие ниточки слез на ее щеках. – Ну зачем это?

– Слышите, какая тишина в доме? Метель... и какая тишина...

– Да бог с ней, с тишиной.

– Нет, нет. Тишина – это, знаете... какой-то странный звук, похожий на звук несправедливости и смерти.

– Вы еще ребенок, Ирина, и вам еще многое предстоит узнать.

– Думаете, я не знаю, что такое несправедливость? И неудача?

– Ответьте искренне: как вы живете, Ирина?

Но она уже молчала, слезы высохли на ее устало прикрытых ресницах, и подрагивали брови, точно в дреме она прислушивалась к чему-то сокровенному, недоступному ему, а он думал, что надо прекратить эту добровольную пытку, расстаться с этой милой девочкой, которая влекла его беспомощной хрупкостью, какой-то неразгаданностью своей жизни.

Каждый раз она встречала его то с открытым восторгом, то с серьезной взрослостью, глаза ее то влюбленно, то грустно лучились, и порой синие круги скрытого недомогания проступали под ними. Иногда, по-видимому, не один час прозанимавшись у балетного станка, она лежала на диване, одетая в спортивный костюм, и, не вставая, печально улыбалась, рассматривала его лицо, но едва он пробовал заговорить, ладонью прикрывала ему рот, просила шепотом: «Не надо, давайте сегодня помолчим». Он не раз заставлял ее в задумчивой рассеянности с книгой, погруженную в одиночество, отрешенную от всего мира. Иногда же ее охватывало ребяческое веселье, и она, оживленная, с блестящими глазами, тянула его на люди, в толпу, в Центральный парк культуры, к которому у нее была ребяческая привязанность из-за «чертова колеса» и «комнаты смеха», в загородные рестораны (чтобы случайно не встретить знакомых из театра), где учила его современному року, не стесняясь никого и привлекая общее внимание дерзкой молодостью, гибкостью, светлыми, почти белыми волосами.

И все-таки он не знал, как она жила и чем жила. Ирина никогда не напоминала о своей травме, не позволяла Крымову наблюдать за своей тренировочной работой у станка и, казалось, почасту занималась чем-то посторонним и лишним. Однажды он пришел на Ордынку в седьмом часу вечера и застал ее за необычным занятием. В спортивном костюме она лежала на полу, вокруг валялись справочники по тригонометрии, таблицы Брадиса, листки бумаги, исчерченные углами и линиями, а она, подперев щеку, писала формулы в школьной тетради, то и дело восклицая:

– Косинусы, синусы! Гадость какая!

Он, развеселившись, спросил, что происходит в этом доме, она возмущенно ответила, что решает тригонометрическую задачу, которую когда-то по причине полной ненависти к формулам не решила на контрольной работе в девятом классе, и, ответив, сейчас же смешала листки, закрыла таблицы, хмуро покусала кончик карандаша.

– Контрольная по тригонометрии иногда снится мне как кошмар. Я хочу отделаться от него и не могу. А кошмар случился в день моего рождения несколько лет назад. – Она досадливо шелкнула пальцами. – Кстати, у меня сегодня торжество. Оставайтесь. Увидите моих знакомых – актеры, художники, всякие милые хулиганы...

Эти «милые хулиганы» с криками, шумом, гогогом ворвались в квартиру Ирины в десятом часу вечера: целовались, вопили восторженные приветствия, кидая пальто и куртки на пол в передней, потом тесно заполнили всю комнату – худенькие девушки в брючках, молодые люди в толстых свитерах. Один низенький, черноволосый, с угольными глазами, сквозными от хмеля («Татарин, невообразимо талантливый художник», – сказали Крымову позднее), просторно раскидывая руки, кричал: «Ира, Ириночка, свет души моей!» – и размахивал, дирижировал бутылкой коньяка. Его не слушали. Тогда он взобрался на стул и, изображая губами и горлом саксофон, завилял бедрами в диком танце.

– Ирка! Золотце ты наше! Поздравляю!..

– Затормози, Диас! – остановил его кто-то ярым актерским голосом. – Тихо! Я хочу произнести тост! Тихо, банда! Абсолютная, химическая тишина!

Озябшие девушки в брючках протискивались, садились за стол, сразу словно бы разгромленный, залитый вином, засыпанный мокрым пеплом сигарет, молодые люди церемонно раскланивались перед Ириной, не обращая внимания на Крымова, только мужчина средних лет, рыхловато-полный, с косящим глазом (из расстегнутого воротника шерстяной рубахи был виден несвежий тельник), пожимая руку Крымову, сказал спотыкающимся голосом:

– Вас я где-то видел! – И пьяно качнулся, придвигая стул к столу. – Где-то...

– Мне тоже кажется. Где – не помню.

– Абсолютная!.. Хим-мическая тишина! – гремел актерский яростный баритон. – Этот дом... в этом благословенном доме новорожденной мы можем оставаться до утра! Мы любим этот дом потому, что можем прийти в него в любое время суток! Да здравствует солнценосная, ура!.. Тихо, банда! Маляр Диас, заткнись! Дядя, дорогой дядя, вы потом расскажите, сколько женщин вы имели и когда!.. Тишина! Мертвейшая тишина! Я не досказал...

– Вы слышите? Вы их понимаете? Они орут на меня, – зашептал удрученно рыхлый мужчина с косящим глазом. – Вот этот татарин, очень своеобразный художник, работает в своей мастерской, родственники ему ее построили. Ухарь, видите ли, всадник, буян, но тронут цивилизацией. В генах небо, степь, ветер, под седлом кусок сырого мяса – вот что питает его талант. А этот Всеволод, – луженая глотка, – актер, сын того, знаменитого из МХАТа... Слышите, как кричит! Мальчишка, а кричит!

– Дядя, в тельнике! Вы к нам присоединились в ЦДРИ, поэтому чужой, и – молчать! Кончайте разговор о женщинах, у вас много их было... Тихо! Тихо! Я читаю стихи! Я прочту стихи! Гениальный Блок! Слушать всем! «И каждый вечер в час назначенный, иль это только снится мне, девичий стан, шелками схваченный, в туманном движется окне...»

– Слышите? – недоуменно зашептал мужчина с косящим глазом. – Они чего-то хотят...

– Чего именно? – спросил Крымов, оглушенный хаотическим шумом за столом.

– Чего-то они хотят, – заговорил мужчина обеспокоенно. – Мы с вами их не знаем – чего они хотят? Они чего-то хотят или вот так пропивают талант? Распыляют жизнь. Я сейчас скажу им, я все им скажу...

Он встал, нетрезво пошатываясь, теплая мешковатая рубаха его была обсыпана сигаретным пеплом, сизое лицо потно, губы подергивались.

– Молодые люди, мы в наше время... у нас была твердая цель, – проговорил он. – Мы страдали, но мы видели цель, мы знали... Мы ходили в лаптях, но мы...

– Дядя, садись! – перебил его актерский баритон с трагической значительностью. – Дядя, вы пьяны, но вы мудро сказали тост! Дядя, вы гений! Скажу только два слова: ге... ний!

– Я хочу прочитать Гумилева! Всеволод, установи тишину!

– Диас, поставь бутылку! Кто пьет из горла?

– Они действительно милые, хотя и грубоватые хулиганы, – сказала Ирина на ухо Крымову. – Вы сидите сейчас в сторонке, тихо, как мышь, смотрите и слушайте. Это очень интересно. Они сейчас будут спорить.

- Хорошо, я буду сидеть, как мышь в углу.
- Я не мученик и не герой... Как назвать это? А?
- Не-ет, это хорошо, что он раскрылся, что он весь как на ладошечке. Он обнажился, разделся перед всеми. Эт-то стриптиз!
- Коля-а, а ты как относишься к евреям и русским?
- Ищу среднее.
- Ложь распространяют завистники.
- В каждой подлости есть наивность, так же как в глупой наивности – подлость! Но ты – завистник.
- В добре – тоже подлость?
- В беззубом, сюсюкающем, ясно?
- Абсолютная, хим-мическая тишина! Тих-хо! Кто хотел читать Гумилева?
- Я предлагал.
- Тих-хо, гангстеры! Где мои пистолеты с инкрустированными рукоятками? Гриша, читай Гумилева!
- Я хочу вам сказать, молодые люди! Гумилев после.
- Опять вы, дядя? Ну давайте, давайте говорите! Дайте сказать ему, банда! Слушать тост человека, который познал все страдания мира!
- С угрюмым, уже вконец хмельным, малиново-сизым лицом, кося глазом, снова по-медвежьки поднялся рыхлый мужчина, сосед Крымова, и он внезапно вспомнил: его знакомили с ним лет десять назад, на каком-то вечере в Доме актера как с сыном известного писателя, погибшего на Севере в тридцатых годах.
- Тот всосался ртом в рюмку, выпил с жадностью.
- Древние говорили: торопись, но медленно! Это касается всех нас! А вы? Кто вы? Что вы знаете?...
- Мысль о смерти – страх перед смертью.
- Потребители жизни. Что вы знаете? Труднее всех на свете живет талантливому и честному человеку.
- Все твои уважаемые классики – сентиментальные вруны!
- Натан, как ты ко мне относишься?
- Я романтик, и это спасает меня от реальной оценки вещей. Я начальник – ты дурак, ты начальник – я дурак. Прав тот, у кого больше прав.
- Циник.
- Откройте окно, пусть ворвется свежий ветер в эту накуренную комнату! Прекратите курить все!
- Диас продал пейзаж за пятьсот. Оформляет сейчас спектакль, кажется, на Таганке.
- Если работа – жизнь, то она наполнена до краев. Не хватает времени.
- Так что же – значит ложь огромна, богата, сильна, а правда мала, ничтожна, бедна?
- Чепуха! Искусство – всегда метафора действительности.
- Самая лживая ложь охраняет и поддерживает жизнь всех правд человеческих!
- А бездарность всегда лжет!
- Не бесполезное ли это умствование?
- У нас шестнадцать процентов всех мировых запасов леса, двадцать процентов всей мировой воды, а бумаги не хватает!
- А что такое ложь – самозащита?
- А если ложь есть правда? А правда есть ложь? Не корчь рожу, сам умею!
- Тихо! Слушайте сюда! Я прочту вам стихи Ахматовой! Божественные строки!
- Роза, как насчет твиста? Учти, я не способен. Диас! Гений! Изобрази губами что-нибудь про твист или шейк!

– А Всеволод на сцене умеет здорово хлопотать мордой. И голосом. Орет, как иерихонская труба!

– Знаешь, что такое критика? Автограф под собственным невежеством.

– А ты вот ушами хлопаешь, как дверьми! Подай бутылку, родной! Зафилософствовался!

– О ком говоришь? Кто бездарность? Ерунду заявляешь и даже не бледнеешь. О художнике надо судить по лучшей его работе! А не по худшей. Злые мы стали, завистливые до ненависти.

– Ты – о ком? Или уже вдребодан? О ком ты?

– О тебе. Тиркушка ты.

– Что за тиркушка? Офонарел?

– Птица такая. Малю-у-сенькая. Уживается с крокодилом. Разевает пасть, а она чистит ему зубы. Клювиком – раз-раз! После того как он сожрал кого-нибудь.

– О, как интересно – зло уживается с добром?

– В каком смысле это тебя интересует, Светланочка? В житейском или философском? Когда ты мне говоришь «нет» – это зло по отношению ко мне. Но ты считаешь это добром по отношению к себе. Не так? Вот сейчас я хочу уйти с тобой в ванную...

– Прекрати глупить, Натан. Я серьезно.

– Зло, девочка, это то, что разъединяет людей, как бы злые люди ни были объединены. Это в философском смысле.

– А Бог? Есть ли тогда Бог? Куда он смотрит?

– Он смотрит на направление главного пути, а не на извивы человечества. Ты хочешь меня углубить, девочка?

– А может быть, истина и есть в этих извивах? Спроси у Бога, Натан, где теперь любовь?

– Хочешь в философском смысле? Пожалуйста...

– В любом. Ты все затуманил. Говори так, чтобы тебя понимали.

– Изволь, дорогуша моя. В американском журнале «Плейбой» помню рисунок: ошарашенный возделением карикатурный папаша сидит в кресле с сигаретой в зубах, а возле него три обнаженные девицы. Подпись: разделение труда. Одна девица зажигает спичку, дает ему прикурить, другая возбуждает этого толстого хряка, а третья лежит в постели, ждет его. Здесь я способен понять и позавидовать. Ха-ха! Что касается правды или истины, то, пожалуй, лучше всего, чтобы тебя не понимали. Я хочу тебя – это понятно?...

– Ты смеешься?

– Света, пошли к дьяволу этого циника от философии! Я за свободу дискуссий! Поэтому не обижайся: чуши он тебе нагородил – лошадь не перепрыгнет. Наоборот: человек только тогда человек, когда боится умереть, только тогда он может познать свою ценность и ценность других. В этой слабости его величие. Не боится смерти только нуль, пустота, ничто!

– Троекратное ура мудрецу...

– Тихо, банда! Слушать сюда, когда говорят взрослые! Кто сказал «ценность других»? Архитектура? Позорище века! Стыдоба! Кривая дорога ослов! Не слушай их обоих, Светка. Единственное, что еще стоит чего-то... что еще объединяет людей, это любовь. Все остальное – полкопейки!

– Какая любовь? Любовь – талант, а я, возможно, бездарен в этом отношении.

– Н-да, господа, глупость нельзя отделить от нашего Всеволода, как причину от следствия. Гип-гип, я пью за причину и следствие.

– Погромче, Диас. Бормочешь чего-то...

– Говорю: все в живописи соцреализма идет от идеи, старик, цвет – лишь средство. Считаю, что я рисую для себя, потому что уважаю идею самого цвета.

– И колорита?

– Я уважаю серебристый колорит.

– Кто – Всеволод талант? Или Натан? Не-ет, это планеты, а не звезды. Звезды – редкость, родной мой.

– Почему планеты?

– Отраженное... не свой свет. Кто мог быть, пожалуй, звездой из всех нас, так это Ирина. Но не стала, не повезло. Знаешь, как в жизни – все вдруг. Вдруг разрыв связей, и на год врачи запретили танцевать. Подожди, дай-ка я скажу тост. Всеволод, наведи порядок! Все галдят как сумасшедшие, не прорвешься.

– Тихо, банда, стрелять из бутылок шампанского буду! Тост! Химическая тишина, когда говорят великие журналисты, не разбойники пера, а борцы за правду!

– Дорогая Ирина, прелестнейшая и талантливейшая женщина нашего времени, мы все влюблены в тебя, и я хочу от всех нас, твоих друзей, сказать, что ты могла быть замечательной балериной...

Крымов, никого из гостей не знавший, оглушенный толчеей вокруг стола, криком, хохотом, спорами этой нестеснительной молодой компании, сидел на диване, в тени, ничего не ел, не прикасался к рюмке, понимая, что здесь он чужой, курил, наблюдал украдкой за безмолвной Ириной, за переменчивостью ее лица, которое в зависимости от направления спора становилось то веселым, то виновато-растерянным, потом, когда сухопарый длинный парень в очках, «великий журналист и не разбойник пера», стал произносить тост, лицо ее выразило страдание. Она вытянула из пачки Крымова сигарету, прикурила от его зажигалки, тотчас загасила сигарету в пепельнице и, подняв глаза на парня в очках, проговорила грустно:

– Милый, о чем ты говоришь? Все это неправда, все это слова, слова, от которых мне стыдно... И тебе потом будет стыдно. – Уголки ее губ тронула полупечальная улыбка. – Вообще все, что вы говорите, так далеко... и это, наверно, все не нужно, все лишнее. А мы лжем самим себе и уже не помним... мы забыли, кто мы есть. Мы – частички земли, крохотные частички и больше ничего. А мы перестали ее любить, потому что любим самих себя. Друзья мои, вы ведь любите только себя... Я не лучше вас, я такая же, но я не хочу лжи, не хочу обмана, не хочу слов, я хочу любить землю...

– Кого любить, дьявол-передьявол? – загремел иерихонский баритон актера. – Ты предала нас, Ира! Ты обманула нас, неверная!

Ирина сказала дрогнувшим голосом:

– Я никого не обманула, я хочу любить небо, землю... а, может быть, потом – всех вас. Небо, землю и, конечно, горизонт, – повторила она с той страстной наивностью, которая делала ее и независимой перед всеми, и обезоруженной. – Да, я люблю горизонт.

– Где ты видишь горизонт, Ириночка? Чем ближе к горизонту, тем он дальше. Даже в любви его не догонишь! Каким образом, дьявол-передьявол, ты хочешь любить горизонт? Аномалия! Причуды амазонки! Патология!

– Пусть. Я так хочу, – кивнула она со своей неуловимой полуулыбкой и вдруг поднялась за столом, сказала внятно и по-прежнему независимо: – До свидания. Мой день рождения окончился. Я никого не предала. Через неделю можете приходить ко мне в любой час дня и ночи.

А после того как гости разошлись, затихли голоса на улице, она в раздумье подождала в передней, погасила свет и, слабо темнея силуэтом, остановилась у окна, раздернула занавеску – там, за стеклом, в ветреной тьме над Замоскворечьем в ледяном холоде пылали зимние созвездия.

– Какие они все чужие, – сказала она. – Подойдите и посмотрите, – добавила она шепотом. – Как блестят изумительно!

Крымов подошел к ней и, по-новому чувствуя и ее беззащитность, и упрямую пружину сопротивления, не предполагавшуюся им раньше, подумал о том, что она умеет держаться на людях с какой-то спокойной, не обижающей твердостью.

– Я не понял, Ирина, кто – чужие? Ваши друзья?

Она, не отвечая на вопрос, проговорила тихо:

– Неужели все мы будем в прошлом? Были, надеялись, ждали... И Сократ, и Чехов в прошлом. И Сафо, и Анна Павлова. И миллиарды людей, что когда-то жили. И мы с вами будем в прошлом. Скажите, Вячеслав Андреевич, почему тогда люди делают не то что надо? Они не чувствуют это?

– Когда вам разрешат танцевать, Ирина? – спросил он, не желая поддерживать ее настроение. – И могу ли я вам в чем-либо помочь? Простите меня за этот навязчивый вопрос, но мне хотелось бы...

– Я потерплю, – сказала она строго. – И мне не надо ни в чем помогать. Если вы еще раз скажете о какой-то помощи, то я рассержусь... Хотя я совсем не хочу на вас сердиться...

– Спасибо.

– Знаете что? Ваша жена – очаровательная женщина, и ее нельзя не любить, и я не хочу говорить вам лживые слова. А я не смогу быть женой и никогда не буду ничьей любовницей. Гадкое слово, противное... Пока вам или мне не надоест, мы с вами останемся друзьями. Вы согласны?

– Согласен, – ответил он с преувеличенной покорностью и спросил: – А если не секрет, чего хотят ваши молодые друзья? У них все хорошо? Или все плохо?

– У них, пожалуй, все хорошо. Но что значит хорошо? Они зарабатывают деньги. Но все они считают себя неудачниками, так как мечтали о мировой славе. Вы не замечаете, что в последние годы стало много самонадеянных неудачников? У них как будто все так, как надо. И какое-то несовмещение...

– С чем?

– Ну, с жизнью... Вернее, как бы вам сказать... Желаний с жизнью. Мы слишком много ждали...

– И у вас тоже... несовмещение?

– Я разве сказала? И вам нравится жалеть меня?

Она повернулась к нему, на ее волосах чуть заметно проступал звездный свет, глаза были опущены, и в изгибе рта чудилось ему нечто упрямое, своевольное, детское. И он, осуждая себя за назойливость любопытства к этой упрямой девочке, проговорил:

– Знаю свою слабость – нетактичен, невежлив, как оглобля.

– Все имеет свое начало и свой конец, не правда ли? – сказала она. – Но мне никто не может помочь.

– Никто?

– Да. И вы не можете. Только я сама. Я должна постоянно говорить себе: «Ничего, мы еще повоюем...»

Она отошла от окна и села на диван, еле различимая в потемках.

Слово «повоюем» никак не соответствовало ее слабой улыбке, слабой тонкости ее рук и шеи, порой возбуждавшей у него безотчетное чувство опасности, которая, мнилось, угрожала ей поздними московскими вечерами, когда она одна возвращалась на Ордынку, – его воображение рисовало мрачные подъезды и на углах поджидающие темные фигуры с жестким взглядом убийц, ее лицо, запрокинутое, мертвое, ее окровавленное тело, брошенное на цементный пол в закопченном, сыром подвале. Он так отчетливо чувствовал ее хрупкость и беззащитность рядом с грубой силой, что эти картонно-зловещие театральные картины возможной беды порой заставляли его звонить ей по вечерам, оправдывая звонки привычной иронией: «Я хотел проверить, соблюдаете ли вы режим».

– Верно, мы еще повоюем, – сказал он и сел возле нее на диван. – А если уж так, Ирина, делаю вам официальное предложение: я хотел бы, чтобы вы снялись у меня в фильме. Съемки

начнутся летом. Признаюсь: год назад я видел вас в «Жизели» и сделал выбор, от которого трудно отказаться. Давайте попробуем, а?

– Нет, – прошептала она. – Никогда. Я не хочу разучиться танцевать.

Ранней весной она согласилась. Это было за два месяца до ее гибели.

Глава четвертая

А тот летний день под Москвой был не совсем раскрытой тайной и для него.

Перед старым, сделанным из шатких жердей мостиком, не способным выдержать «Волгу», шофер остановил машину, и отсюда, с берега, стали видны вдаль низкие купола и белые стены Старого Спаса. Сначала они пошли тропкой мимо зарослей орешника, потом через зеленеющее кукурузное поле до опушки роши, куда подымался горячий на взгорке древний проселок, должно быть помнивший лапти калик переходящих, покорную поступь молчаливых монахов, прикосновения босых ног разувшихся в дальнем пути богомольцев, хозяйственную припечатку купеческих сапог, и танец сапожек деревенских красавиц, и смиренную притомленность разного сана грешниц, ходивших сюда из Москвы спасти душу. И Крымов, подходя к монастырю, вообразил пекущий июньский день, потные под платками белые лбы столбчатых грешниц, скромно опущенные ресницы, серо-запыленные в покаянной дороге юбки, увидел до того реально, точно вчера сидел вот здесь, в тени придорожного вяза, на пахнущей влагой земле, слушая сонный плеск ручья под бугорком.

Проселок через рошу привел к невысокому храму, окруженному полуразрушенной стеной. Над разросшимися липами жарко горел в голубой синеве золотой крест, и вместе с теплым воздухом, настоящим цветочной горьковатостью пересушенного сена, наносило сырвато-березовой плесенью дров, уложенных штабелем в бывшем монастырском дворе.

Да, во всем был разгар лета, ослепительность, синева, зелень, радостная густота листвы, и Крымов особенно чувствовал молодой блеск глаз Ирины, ее особенно живую, необычную отзывчивость и позднее, восстанавливая этот день в памяти, почему-то хотел подробно вспомнить и ту минуту около церкви, когда она задержалась подле паперти, где стояла под навесом липы кем-то оставленная тут детская коляска со спящими младенцами-близнецами, распаренными зноем (кажется, тогда она сказала: «Какие у них чудесные носики, какие смешные рожицы!»), а он спустился по ступенькам из слепящего полдня в холодноватый полумрак церкви, где две старухи в темных платках шептались на лавке, клоня головы, молясь и время от времени по-деревенски опрятно утирая края губ.

В церкви Старого Спаса веяло студеностью каменного пола, тускло отблескивали фрески на стенах, под куполом, и было слышно, как в тишине летнего светоносного блаженства на заросшем монастырском дворике ворковали голуби. Крымов задержался у иконы Богоматери, в озарении свечей взвизгивающей неземными глазами на дела мирские, но, заслышав стук каблучков по гулким ступеням, обернулся. Проем входа был ярко залит солнцем полного июньского дня, как-то сладостно осязаемого из каменного подвала церкви, и он увидел в проеме неистового солнечного сияния ее фигуру, ее легкую юбку, пронизанную сзади золотистым светом, и древние гранитные ступени, по которым гибко ступала она, чуть покачиваясь. Он заметил, что старухи перестали шептаться, осуждающе повернули в ее сторону головы, а она приблизилась к иконостасу, приветливым взглядом здороваясь с ними. И Крымову стало весело оттого, что старухи осуждали ее молодость, приветливую невинную свободу, открытую этому дню, и взору святых, и скорбящей Богоматери, и огонькам свечей. Он увидел поднятые глаза Ирины, как бы отделенные от лица, сияющие в полутемноте влажным блеском, и, сдерживая легкомысленное в храме желание улыбнуться ей, сказал, указывая кивком на икону слева:

– Посмотрите, как по-современному написан лик святого Александра Невского.

– Да, да, удивительно, – отозвалась она шепотом.

Все было нерушимо и тихо, вверху, под куполом, стонали в любовной истоме голуби, в веерном солнечном свете отсверкивал кафельной плиткой недавно вымытый пол (в углу мирно стояло ведро, на нем сушилась тряпка), благолепные лики святых и раздвинутые царские ворота под расписными сводами не угрожали напоминаниями о потерянной вере, о тяжких грехах,

о земной тщете, не давили печалью, и по-прежнему было чисто на душе Крымова, и было необыкновенно хорошо чувствовать ясную молодость Ирины в этом старом храме, наполненном воркованием голубей и полевой тишиной.

Минут двадцать спустя вышли из церкви на зеленый холм (остатки городища), где внизу, в широкой впадине текла река, заставляя представить, какие улицы, какие стены русского города были когда-то тут, на острове, замкнутом водой, вблизи монастыря.

– Ну вот, пожалуйста, полевая гвоздика, – сказала она и легла на траву, ласково погладила ладонью цветы, затем повернулась на спину, мечтательно говоря: – Вот так бы лежать все время и смотреть в небо. Неужели оно было таким всегда? И когда нас не было, и в пятом веке, и в десятом? Какая все-таки благодать: солнце, тишина, стрижи над колокольней...

– Где-то я читал: поблизости с полевой гвоздикой должна быть и ягода... – сказал Крымов и, засмеявшись, отвел глаза, чтобы не видеть ее колен.

Он снял пиджак, кинул его на землю, лег рядом и, как по заказу, нашел вблизи землянику, крупную, перемлевшую на припеке, сорвал две ягоды со стебельком и протянул их Ирине. «Благодарю, поделим поровну», – сказала она и, продолжая глядеть в небо, рассеянно отъединила губами одну ягоду, а другую вернула ему. Он хотел увидеть и не увидел сок на ее губах, ибо по неподвластным памяти путям вспомнил неприкасаемую возлюбленную Мартина Идена, которая показалась герою доступной в тот миг, когда по-земному был замечен им красный сок черешни на ее губах.

– Скажите, есть ли на свете человек, свободный, как ветер? – спросила она низким голосом, будто повторяя слова роли, но этих слов не было у его героини.

– Человек счастлив тогда, когда время не имеет для него значения, – ответил Крымов ленивым тоном самовлюбленного героя из сценария и оперся на локоть, видя ее отрешенное от земного лицо, ее выгнутую юную шею, раскинутые на траве руки.

– Значит, мы с вами несчастливы, – сказала она разочарованно. – Раньше уходили спасать душу в монастыри и скиты. Счастливыцы...

– Почему несчастливы? И почему счастливыцы?

– Я не о том, – поправилась она и нахмурила брови. – Я не смогу сыграть женщину, которая прокликает слабого человека. Не так это надо. Он трус, ее муж, он обманул, но не предал ее и ушел. Она должна жалеть его, современного неудачника и эгоцентриста. Но скажите – есть Бог? Я спрашиваю серьезно.

– Есть мировая гармония, по-видимому.

– Тогда почему существует зло? Объясните.

– Дерево растет в высоту – чего оно хочет? Молнии?

– Конечно, нет...

– Тогда, значит, красоты, – продолжал он с шутливой доказательностью. – Красота помогает подниматься в небо, к недостижимому. Или вернее – она является лестницей, соединяющей землю с небом. А зло врастает в землю.

– Нет.

– Почему?

– Вы говорите – красота. Но что это такое, в конце концов? Совершенная красота греческих статуй – скука невероятная. Скучища, тоска. Идеальная классичность – боже, какая мертвечина! Нет, это небыстречность, нет! – договорила она страстно. – Красота – в пластике движения. Вот смотрите... – И она сделала плавный жест кистью и уронила руку на траву.

– Красота – это западня, – сказал он по-прежнему шутивно. – Прикоснулся – и она захлопнулась, и нет выхода.

– Чепуха, неправда. Всегда есть выход.

– Из этой западни нет ни у кого. Но я обобщаю рискованно. Здесь спасает чувство реальности и самоирония. И боязнь быть гостем на чужом пиру.

Она задумчиво посмотрела на него, заговорила с грустным непониманием:

– У вас загорелое лицо, светлые морщинки возле глаз. Я по сравнению с вами дурнушка, а вы действительно можете нравиться женщинам. Но почему вы видите во мне глупую девочку и говорите со мной, как со школьницей, с ученицей девятого класса? По-моему, вот уже полгода вы меня тщательно изучаете как режиссер. Скажите искренне – я действительно бездарная?

– Ирина, отчего вы вдруг?

– Тогда скажите, почему люди так жестоки и недоброжелательны друг к другу?

– Ради чего вы задаете эти вопросы, Ирина?

– Не важно. Почему скромность стала уже как порок?

– Да в чем дело? Я озадачен...

– Почему доброе, сокровенное вызывает насмешливую улыбку? И в то же время поклоняются пошлейшей моде, дурацким джинсам, жуткой музыке, какой-нибудь сиюминутной заграничной звезде...

– С вами что-то случилось?

– Вы ответьте, Вячеслав Андреевич, если не считаете меня глупенькой танцовщицей. Многие считают, что балерины, или танцовщицы, почти все глупенькие...

– Не все, ясно же, – сказал Крымов, несколько встревоженный переменой ее настроения. – Хотите знать, что я думаю? Мы, Ирина, часто идеализируем человека, а он еще сознанием до многого не дорос. Однажды я был очень удивлен, когда узнал, что только два с половиной миллиметра серого мыслящего вещества в наших головах... жалких два миллиметра отделяют нас от животного. А все остальные – пять миллиметров – инстинкты, инстинкты.

– Вы снова говорите со мной, как с ребенком, а не серьезно, как я хочу.

– А если совсем серьезно, Ирина, то современному гомо сапиенсу часто не хватает поступка, потому что делать добро всегда трудновато и хлопотно. Говорить друг другу правду – иногда выглядит близко к глупости, иногда даже небезопасно. Поэтому вместо поступка мы привыкли очень легко судить людей. А надо уметь прощать. Ни черта не умеем...

Ирина сорвала травинку, прикусила ее зубами.

– Меня сегодня судили... и очень жестоко, – тихо и, казалось, равнодушно сказала она после молчания. – Утром на студии я услышала разговор около гримерной. Там были актеры, и они...

– Кто?

– Если вы будете спрашивать «кто», я замолчу.

– Простите, Ирина. Так что было около гримерной?

– Я случайно услышала: одна актриса сказала обо мне: «Ее взяли на главную роль, потому что она любовница Крымова. У него губа не дура. Но какая из неудавшейся балерины драматическая актриса?» Я не понимаю, за что они так не любят меня. Что я им сделала плохого?...

– О, завистливые страусихи, черт бы их взял! – выругался Крымов, не сдержавшись. – Самые грубые комплименты расточают только бесталанному гению, который не способен соперничать с ними!

– Вы не любите актеров?

Он давно привык к неожиданностям взаимоотношений в актерской среде, к изменчивости симпатий, к холодной вежливости, к приторной доброжелательности соперников, к беззлобному коварству, к едкой ухмылке скепсиса, к преувеличенным крикам хвалы и толчее на премьерах, умиленному восторгу, высказываемому счастливо преуспевающему, прославленному коллеге, новоиспеченному кумиру, которого непонятно почему суетливо торопят поздравить, в упоении толкаясь локтями («Великий! Талантище!»). Он привык к манерной речи наскучивших знаменитостей, к превеселой наглости и изысканной предупредительности его и ее, презирающих и едва терпящих друг друга, но вынужденных по воле режиссера избоб-

ражать на съемочной площадке влюбленную пару, – привык ко всему тому, что составляло быт, работу актера и его связь с ними, в общем-то людьми незлобными, терпеливыми, покорными, порой наивно-доверчивыми, готовыми в минуты аплодисментов на премьере облиться перед экраном слезами над своей и чужой игрой. Крымов знал и то, как губительно разит их яд кулуарных упредительных репутаций, созданных завистливыми языками бывших, теперь обоюденных кумиров или непризнанных талантов. Он знал и то, что приглашение и утверждение Ирины на главную роль заварит это язвительное зелье, ибо видел, что в дни кинопроб за ней следили каким-то всасывающим взором и ассистенты, и осветители, и актеры из других групп, словно бы по ошибке заходившие в павильон. Ее бледное лицо, полувиноватая, полупечальная улыбка, ее стеснительность наталкивались в эти дни либо на неестественную приятность, либо на великолепно сыгранное бесстрастное хладнокровие киноизвестностей, назойливых претенденток на роль главной героини («Возьмите меня, Вячеслав Андреевич, героиня-то моя!»). Но все это, без труда замечаемое Крымовым, нисколько не беспокоило его, уже познавшего средю неустанного соперничества и постоянной возни вокруг эфемерной и тем не менее жаждою славы: такова, по его мнению, была профессия актера. Однако профессия эта все же не позволяла перешагивать хоть и зыбкие, но определенные рамки, и отраву ревности переставала изливаться на счастливица, едва он был утвержден на роль, и тут наступало выжидательное молчание, говорившее о том, что время – неподкупный судья и оно раскроет истину, обнажит и выявит всему миру постыдную ошибку постановщика картины, сделавшего капризный выбор, «обеспечившего» неуспех фильму. Обычно Крымов посмеивался над этой невинной мечтой о возмездии, что обязано настичь заблудшего режиссера, но ядовитый разговор актрис у гримерной, намеренно начатый почти в присутствии Ирины, удивил и разозлил его неумемной женской мстительностью.

– Пожалуй, вы должны были знать, что в искусстве властвуют в определенную пору две царицы, – сказал Крымов с досадой. – Это зависть к чужому успеху и ревность к чужим возможностям. И никакие нравственные революции не лишат этих цариц трона. В конце концов побеждает тот, кто умеет работать. Вот и все.

– Работать? Я согласна. Только работать. Но, пожалуйста, посмотрите, как работают эти страшные люди. И все в одни сутки. Письмо получила вчера. Сначала не хотела говорить вам... Но кто-то на студии, или даже все, меня терпеть не может. А я добра со всеми. Я не умею сориться. За что же они? Ведь у меня горе. Я же восемь месяцев не танцую...

Она села, зубами покусывая травинку, прислонилась лбом к коленям, посидела так в задумчивости, потом, взглянув на Крымова вопросительно, достала из сумочки помятый конверт, сказала ломким голосом:

– Вот это. Я была бы не права, если бы не показала. Мне стыдно, что письмо касается и вас.

В конверте лежала записка, состоящая из нечетких и неровных машинописных строк (видимо, автор их нечасто печатал на машинке), и Крымов прочитал:

«Многоуважаемая Ирина!

Извиняюсь перед Вами, не знаю, как по отчеству.

Ваша доброжелательница хочет предупредить Вас о том, что Вы поступаете, то есть ведете себя, неосторожно, можно сказать, заносчиво и вызывающе. Мало того, что вся студия знает о Вашей бесчестной связи с режиссером Крымовым (он Вам, милая девочка, в отцы годится!), но Вы использовали свои женские чары молодости и заставили его дать Вам главную роль в фильме, к чему у Вас нет ни способности, ни призвания. Ведь Вы уже показали свою несостоятельность в балете. Поверьте, не Ваше это дело искусство, а Ваше дело хорошо выйти замуж и быть красавицей для мужа.

Ирина! Умоляю Вас, будьте милосердны и разумны, оставьте в покое всеми уважаемого человека и не убивайте его жену, достойную женщину, которую Вы можете довести до гибели.

Умоляю, умоляю, опомнитесь!

Ваша доброжелательница, любящая Вас».

– Конечно, без подписи, – сказал Крымов сухо. – Скромный памятник зависти в эпистолярном жанре. Спаси меня, милосердный, от доброжелателей моих, а с врагами я как-нибудь и сам справлюсь. Послание почтенной корреспондентки весьма трогательно и требует самого искреннего и короткого ответа: к чертовой матери!..

Он решительно разорвал письмо, отбросил клочки в сторону, но тон фальшивого соучастия, похожего на мучительство, исходивший от неумело напечатанных на машинке фраз, и эта лицемерная защита его семейной чести пакостно царапнули в душе.

«Так кто же они, друзья беспощадные, которые ничего не прощают: ни молодости, ни чужой радости?» – подумал он, уже не удерживаясь в том блаженном летнем настроении, какое появилось в монастырском храме, когда Ирина из льющегося солнечного потока сходила по ступеням.

– Как же они меня ненавидят, – проговорила Ирина. – И вас из-за меня.

– Я режиссер и привык ко всему.

– А я не хочу, чтобы ваши несчастья шли от меня.

– В кино, чтобы победить, надо пройти через девять кругов Дантова ада, – заговорил он спокойно. – Представьте, что я ваш Вергилий и проведу вас по этим кругам сравнительно безопасно. И стены Иерихона падут. Я верю в вас. Признаюсь, я долго присматривался. Вы все сумеете.

– Нет, – сказала она. – Стены Иерихона не падут.

– Почему?

Она обхватила колени руками, положила на них подбородок, наблюдая горообразное облако с пепельными, точно подпаленными краями, заходившее из-за леса на том берегу, где за огнистыми вспышками реки везде тоже жгуче сверкало, струилось в жару пестротой зелени, бликов, густой тенью орешника, дремотным покоем перегретых лугов.

– Нет, – проговорила она, и строгая морщинка пролегла у нее на лбу. – Вы мне ни разу не говорили – ваша жена знает, что я есть на свете?

– О вас она ничего не знает.

– Все в этом мире связано, Вячеслав Андреевич?

– Все. Или почти все.

– Хорошо. – Она протянула руку. – Помогите мне встать.

«Она боится неловко встать, – вспомнила о травме связок? Именно сейчас она вспомнила об этом?»

И он стиснул ее хрупкие пальцы, аккуратно поднял ее с земли, она выпрямилась, задела его юбкой по ногам, но тотчас вслед за тем отступила на шаг, вскинула, страдальчески дрожа бровями, незнакомо улыбающиеся глаза.

– Что, Ирина?

– Простите меня... Я не буду играть в фильме, – сказала она. – Простите за то, что я подвожу вас и нарушаю планы. Я знала, что со мной плохо кончится. Я виновата, виновата. Перед вашей святой женой. Перед этими дурами – актрисами. Перед вами. Перед фильмом. Я уеду в Ригу к отцу. И так будет лучше. Для всех. Нет, пожалуйста, ничего не говорите! – заторопилась она и тут же, видя, что он готов прервать ее, и почему-то с улыбкой, кокетливо делая ему большие умоляющие глаза, в которых стояли слезы, повторила: – Я знаю, что вы скажете! Но я не передумаю. Так надо! Простите меня...

Порой чьи-то вскользь брошенные слова заставляли его бессонно ворочаться в постели, плохо спать ночью – он называл это сверхмнительностью, неврозом двадцатого века. Но то, что говорила она, не могло быть смягчено ни иронией, ни шуткой, этим утешающим оружием, с которым было легче жить. Он смотрел в ее кокетливо («Зачем?») расширенные, полные слез

глаза, и его охватывало такой давно не испытанной растерянностью, такой новой болью перед ее покорным отступлением, беззащитной наивностью, которых он совсем не встречал последние годы, что ее насильственная сейчас и жалкая кокетливость, ее невыплаканные слезы показались ему мученическими. И Крымов, окончательно утратив недавнее благостное настроение, понял, что все планы со съемками на август полетели в тартарары. Он представил ее отъезд в Ригу как состояние еще не законченного действия, но выхода уже не было, и он произнес наконец единственную и вряд ли что спасающую фразу:

– Не делайте этого, Ирина.

– Спасибо. Я сделаю это. Я уже решила, – сказала она, глядя исподлобья с виноватой осторожностью, и пошла вниз по тропке к реке, чуть покачиваясь в талии, неразгаданное и непознанное им существо.

Позднее, вспоминая, что произошло потом, он в бессилии думал, что был в тот день непростительно и эгоистически расчетлив, глуп, туп, а в это время безумие настигало их черным крылом на том холме неподалеку от монастыря Старого Спаса.

И ему чудилось, что когда они спустились к расплавленной зноем реке, некое бесцельное безумие было и в самом солнце, которое остро, паляще давило, угнетало, поднявшись в высоту, а туча, сгущенная до черноты, заходила и заходила из-за леса, стремительно расширялась, клубилась краями, тянулась в зенит, совершенно черно сбоку загораживая солнце, отчего монастырь на вершине холма разительно вспыхнул какой-то девичьей белизной. Крымову стало душно, на берегу тянуло жарким, парным, затем пошли, побежали темные полосы по воде, резко потянуло свежестью, и Крымов даже задохнулся от орудийного раската в поднебесье, от застучавших по лицу крупных капель и неясно увидел, как тот берег, река, небо слились в мелькающий ливневый мрак.

– Ох, как хлещет, как он хлещет! – услышал Крымов сквозь шум дождя ее голос. – А как хорошо, как хорошо купаться сейчас!

Они стояли под мостом, окатываемым струями дождя, звеневшего над головой по железу пролетов, его удивило это «хлещет», слово, явно пришедшее к ней в тот миг из детства, но более удивило другое, тоже бессмысленное, ненужное, безумное. Она говорила быстро: «Отвернитесь, не смотрите», – и торопливо снимала с себя насквозь промокшую потемневшую кофточку, юбку и, вышагнув из туфель, побежала по откосу вверх, на мост, оглядываясь с уже спутанными на щеках волосами и маня его рукой: «За мной, за мной, за мной!»

Почему он не сообразил, не понял тогда, зачем она подымается к мосту, и почему не остановил ее? («Да так вот и не смог предупредить и остановить ее...»). Раскаяние было запоздалым, бесполезным, отравляло его ожигающим душу ядом, но оправдываться было не перед кем и изменить нельзя было ничего.

И все-таки последние ее минуты на земле, минуты ее отчаяния или радости перед тем неистовым дождем, когда она подымалась к мосту, никак ясно не представлялись его сознанию.

Ее беспомощно качающаяся от толчков машины голова лежала на его плече, и от каждого толчка ее влажные, по-детски слипшиеся волосы касались его щеки. И так близко было ее лицо, уже источавшее земляной холод, уже неземное, с потеками краски под полуприкрытыми ресницами, и он так явственно сознавал, что никуда не уйти от всего этого ужаса, от всего этого невыносимого, час назад случившегося с ней, что, казалось ему, в беспомощности умолял кого-то пощадить, спасти ее, но после не помнил ни слова, лишь смутно видел, как оборачивался шофер – вдруг впереди него появлялись высосанные страхом глаза, по-рыбьи онемело раскрывающийся рот и струйки крови, текущие из ноздрей. И тенью проскальзывали те леденящие минуты, когда, вытащив Ирину из воды, он кинулся к оставленной за мостком машине и не нашел ее там. В бессознании она еще дышала в те секунды, а он метался по берегу, кричал, звал, ругался сумасшедшими ругательствами с единственной надеждой, что шофер не

мог уехать надолго. Но машина вернулась минут через сорок, и он, готовый к невозможному, увидев сытое, распаренное лицо шофера, не владея собой, не сдержал бешенства.

А больница была в районном городке, и пятьдесят километров проехали по тряскому проселку в предгибельном адском бреду: вероятно, гроза проходила над дорогой, что-то горячее, намокшее в ливне, неприятно зеленое пронеслось в шуме, в гудении за стеклами, он стонал, стискивал зубы и снова чувствовал неживое, беспомощное прикосновение ее головы у себя на плече, безнадежное молчание Ирины...

Долго искали в городе больницу, вернее проезды в больницу, дороги повсюду были перекопаны газовыми траншеями, наконец и вся эта мука кончилась, они остановились под топочьями парка, у самого подъезда. Как он вылез из машины, оставив ее одну на заднем сиденье, вошел в подъезд, в сумеречный провал, где замельтешили незнакомые лица, как поднялся на второй этаж, пропитанный нечистым человеческим запахом, заставленный по всему коридору койками, как раскрыл дверь в кабинет хирурга, он помнил туманно. В те минуты перед глазами повторялось одно, застрявшее в его сознании, вероятно, навсегда: вот она встала на перила моста, видимая сквозь дождь, сложила руки над головой и, крикнув что-то ему, плавно изогнулась, прыгнула в воду.

Потом он ожидал, пока его позовут, стоял на крыльце, курил и не докуривал сигарету за сигаретой и тер сжимающееся горло, плохо понимая, для чего солнце с летней радостью горело в лужах, освеженно и радужно переливалось на отяжелевших листьях в мокром парке, на мокрых лопухах, на омытой чистой траве, почему тяжелые капли звучно падали с крыши в полное до краев цинковое ведро, отчего зеркальные блики зыбко колебались, прыгали по навесу крыльца, а она была там, на втором этаже, лежала на каталке, закинув голову с влажными светлыми волосами, с неподвижно полуприкрытыми ресницами, под которыми все не просыхали потеки туши, лежала в палате, стерильно белевшей кафелем, где не было надежды.

Глава пятая

В комнатах съемочной группы, куда заглянул Крымов, было безлюдно, предобеденное солнце накалило паркет, и пахло, как в музее, пыльной обивкой старых кресел. Из кабинета директора картины доносилось торопливое постукивание, и едва он открыл дверь, оглушило очередями пишущей машинки, понесло сквознячком, всколыхнулись листки на столе против раскрытого окна, где молоденькая машинистка зашлепала ладошками по кипам бумаг, оглядываясь на Крымова в замешательстве.

– Один? – спросил Крымов и толкнул дверь в смежную комнату, откуда ручейком пробивался журчащий голос.

Директор картины Терентий Семенович Молочков, маленький, сухощавый, с непременно бодрым и приятным лицом, распространяющим уважительное внимание ко всем, заканчивал деловой разговор по телефону, любезно договаривая: «Взаимно, взаимно», – и, положив трубку, проворно вскочил и бросился к Крымову, выражая озабоченность и немедленную готовность к действию.

– Вячеслав Андреевич, как я рад вас видеть! С приездом, с победой, а мы вас так ждали! Поздравляем, поздравляем от всей души!..

И говоря это, Молочков снизу ткнулся губами куда-то возле подбородка Крымова; его яркие леденцовые глаза засветились преданностью и счастьем поклонника и киномана, которому повезло прислониться к славе кумира.

– Привет, Терентий, – сказал невнимательно Крымов, подходя к тумбочке и наливая из сифона газированной воды, зашипевшей, застрелявшей пузырьками в стакане. – О лстец, запомни, прошу не в первый раз: страшны не те стервятники, которые пожирают трупы, а те, которые лестью пожирают заживо. Не сожрешь ты меня, Терентий, не клюю я на восклицательные знаки, черт тебя дери! Здравствуй, успокойся и рассказывай, как дела в съемочной группе.

– Господи Иисусе, да кто это может вас сожрать, Вячеслав Андреевич! – И Молочков с восторженным возмущением воздел руки к потолку, отчего рукава его чесучовой куртки сползли до локтей. – Кто может вас пошатнуть, такую глыбу! Вас!.. Ах, Вячеслав Андреевич, плохо вы себя любите и цените!..

– Умерь пыл, пожалей слова, – прервал Крымов и отпил из стакана, брызжущего пузырьками, охлаждающими горло льдистыми иголочками. – Думаю, ты в курсе дела. Не так ли? По-видимому, не я буду снимать эту картину...

– Как? На каком основании? Как так? – изумленно вскричал Молочков и забежал по комнате, мотая полами широкой на его плечах куртки, мелькая узкими помятыми брюками. – Откуда вы принесли такую новость? Из самого Парижа? Вы меня режете без ножа!

– Сядь, Терентий, прекрати свою страусиную бегодню. Это раздражает. Давай поговорим.

Молочков с послушным ожиданием опустил на диван и, заранее пугаясь, заморгал круглыми желтыми глазами.

– Без ножа убиваете. По первому разряду убиваете.

– Так вот, Терентий, – сказал Крымов и медленными глотками допил воду. – Снимать фильм я не буду. Впрочем, скажу тебе откровенно, – добавил он сдавленным от холода газировки голосом. – Я вообще не должен был браться за эту картину. Просто я не понимаю, Терентий, что такое современная молодежь и что такое их современная любовь.

– Правду-матушку побойтесь, Вячеслав Андреевич.

– Боюсь. Но это так. Каждый должен знать, на что он способен.

И он присел на подоконник, полуповернулся к Молочкову – из окна наплыло листовным жаром тополей.

Молочков схватился за голову, воскликнул взвившимся тенором:

– Я догадываюсь, в чем ваша причина! Нет тут вашей вины, нет! А если кому не в разум, так это дело скоро пройдет. Вячеслав Андреевич! Меня неделю назад тоже вызывали в инстанцию... Или вроде приглашали для разговора... Задавали вопросы о ваших отношениях с артисткой Ириной Скворцовой. Им, стало быть, никто не запретит докапываться до середины, если дело о гибели человека при неизвестных обстоятельствах...

– При неизвестных обстоятельствах? – переспросил Крымов и, оттолкнувшись от подоконника, прошелся по комнате. – Кому неизвестных? Тебе или следователю, который тебя спрашивал? По просьбе следователя до своего отъезда на фестиваль я изложил все обстоятельства письменно. Я был единственным свидетелем... единственным. И никто не может ничего добавить. Ни Балабанов, ни ты. Смысла не было вас вызывать – или как там? – приглашать для разговора.

– Не одних нас. Знаю, что и шофера Тулина. С ним-то вам не надо было связываться, темный он с ног до головы, – добавил Молочков с негодованием. – Никак я не возьму в толк: неужто не верят они вам?

– На этом свете все возможно.

– Шофер Тулин сейчас ко мне пойдет, – заговорил Молочков, понизив голос – Вы поговорить с ним не хотите?

– Охоты нет.

– Настроен он весьма по-идиотски, агрессивно, можно сказать, и собирается в суд подавать. Ох, не надо было вам, ох, не надо с дураком связываться! Господи Иисусе, вспомнил я вас офицером, и страшно стало мне... А ведь тридцать пять лет прошло. И тут рискуете, Вячеслав Андреевич, опять рискуете смелостью.

– Что не надо, ты сказал?

– Избивать подонка такого, пьяницу, как стало известно, ловителя рублей... Беспокоюсь я за вас, Вячеслав Андреевич. Мне, может, ваше здоровье и нервы дороже всего. Без вас мы все в съемочной группе ровно щенки слепые или сироты, можно сказать. И я без вас – нуль, никто, сопля воронежская, в чужих вроде санях. Потому на душе кошки скребут, Вячеслав Андреевич, нехорошо как-то чувствую себя, когда вас кто плечом задевает...

– Давно хотел тебе сказать, Терентий, – прервал недовольно Крымов. – Мужские сантименты в деловых отношениях давно бы пора бросить. Ну скажи мне, директор, почему, ради чего ты заискиваешь передо мной?

– Напрасно обижаете. Очень я уважаю вас, Вячеслав Андреевич... – сказал Молочков, потупив влюбленный взор. – До гроба не забуду, что сделали вы для меня. Я всем вам обязан, и жена моя Соня весьма вам благодарна...

– Ставишь меня в дурацкое положение! – раздраженно сказал Крымов, с отвращением понимая, что не сдерживается, позволяя себе прежнюю, осужденную им самим слабость молодости: вспыльчивость. – Роль благодетеля и благодарного – архаичное понятие в наше время! – заговорил он, не сумев подавить раздражение. – Мы с тобой хоть друзьями на войне не были, но какую-то пору воевали вместе. И наши отношения должны быть равными. Сними напряжение, Терентий, ты мне ничем не обязан! Тем более, что и друзьями мы никогда не будем...

«К чему я так грубо и откровенно? Что меня заставляет говорить ему все это?»

– Я хотел бы... мечтал, да только вы, Вячеслав Андреевич... далекий, – забормотал Молочков, и руки его кругообразно задвигались на коленях. – Да чего мечтать? Много вы для меня сделали, а неблагодарных свиней я весьма не люблю. Вы птица большого полета, а я кто ж такой... из сопливой деревни да из грязи болотной в князи выбился. Образовался на курсах. Считать, правда, я хорошо научился. А в сравнении с вами – необразованная балбешка. – Молочков стукнул жилистым кулачком себя в лоб. – Хоть курсы администраторов кончил. И на войне дурак дураком был, и после войны. Пока вас не встретил, Вячеслав Андреевич...

– Самоуничужение паче гордости, – сказал Крымов. – Я сделал для тебя не больше того, что мог бы и другой. Ну хорошо, Терентий. Если нравится, изображай из себя благодарного раба, а я буду в позе благодетеля наслаждаться твоим гордым самоуничужением.

«А ведь он похож на кузнечика. Сидит на диване, шея вытянута, весь напряжен, руки на коленях, глаза налиты умильной преданностью, вот-вот готов прыгнуть и задушить в объятиях, несмотря на мою грубоватую откровенность...»

– Боюсь, Терентий, тебе когда-нибудь надоест быть благодарным...

«Что толкает меня говорить подобную глупость?»

– Никогда. Крепко меня обижают, – искренне запротестовал Молочков и, сощурясь в сладостном оцепенении, договорил горловым выдохом: – Меня бы Соня прокляла... и умер бы я за вас...

«Прокляла Соня? Умер бы за меня? Или он безумец?» Крымов переспросил:

– Соня?

– Моя жена Соня, Софья Павловна, – скороговоркой пояснил Молочков. – Она прямо души в вас не чаёт. Она все ваши фильмы наизусть помнит.

Да, Софья Павловна недавно стала женой долго жившего в одиночестве Молочкова, а накануне женитьбы, пьяный от счастья, он приводил ее сначала домой к Крымову, затем на студию, с гордостью знакомя и представляя съемочной группе будущую супругу. По профессии она была учительница пения, и Крымов поразился ее сильным толстым ногам (наводившим на мысль о хозяйственной склонности ума), мужской величине ее плеч, полноте бюста и басистому голосу, когда по просьбе ликующего жениха она нестеснительно пропела, мощно притопывая ногой, песню Сольвейг под аккомпанемент звукооператора, приглашенного к пианино в актерскую комнату.

– Ах, да, – сказал Крымов, вспоминая свою неловкость при этом знакомстве. – Да, интересная женщина, талант, лирическая натура, но не это я хотел сказать, Терентий, – оборвал он себя, чтобы не сбиться на привычный иронический тон, некстати высмеивающий малознакомую, в сущности, жену Молочкова. – Так вот что я хотел сказать, Терентий. И это серьезно, – добавил Крымов. – Картину я снимать не буду. Этого моего решения я не сказал Балабанову. Так что тебе, по всей видимости, придется работать с другим режиссером. Второй такой актрисы, как Скворцова, нет. И я не верю в удачу. Впрочем, удача или неудача – теперь не имеет значения. Так что, Терентий, вероятно, с год я побуду в простое, если, разумеется, не законопатят в тюрьму. Ибо все может быть в наши насыщенные созидательными событиями будни...

– Зачем вы так шутите? – зябко поежился Молочков. – Когда вы не будете смеяться над всем?

Крымов ответил полусерьезно:

– Не над всем. Над самим собою. В этом есть надежда, коли мы не исповедуемся в церкви. Высшая мудрость приходит тогда, когда начинаешь понимать, что все может быть.

– Ой-ёй-ёй! – покачался на диване Молочков, и леденцовые глаза его всполошились, замерцали. – Боязно мне за ваш язык, Вячеслав Андреевич, люди стали обидчивые очень, гордые, грамотные, не так поймут и мнение составят нехорошее.

– Ах, мой золотой Терентий! Вокруг столько фальшивых репутаций, невероятно надутых пузырей, случайных известностей и неизвестных знаменитостей, что мое развенчание «нехорошим мнением» ничего не убавит и не прибавит в деталях моей биографии.

– Злые есть люди-то... Все норвят съесть кого...

– Посмотрим на их аппетит. А я пока поехал на дачу. Ну, будь...

Он сказал фамильярное «ну, будь» и с неприязнью к этим кинематографически богемным словам пошел к двери, на ходу потрепав Молочкова по плечу.

«Нет, обман! Независимо от собственной воли я ничего не могу поделать с собой, – подумал Крымов, мучаясь мерзким неудовлетворением. – С милым ерничеством развлекаю и его, и себя. А на самом деле болен невротами двадцатого века, как и все в искусстве, которые не могут насытиться ни тщеславием, ни славолюбием. Честолюбив и самолюбив, как вчера, как тридцать лет назад на войне. И вот совестно признаться, что совсем не безразлично, что подумают обо мне... Так, может быть, вся моя жизнь была трусостью, если я боялся за свою репутацию и хотел понравиться? Ради чего? На войне – ради орденов? После войны – ради успеха? Кто я – лжец или честолюбец?»

Выйдя в комнату, где на сквозняке работала машинистка, бегло бьющая по клавишам, Крымов задержался, внезапно столкнувшись с чем-то посторонним, мешающим, и не сразу сообразил, что ощущение возникло при виде парня, ссутуленно сидевшего на стуле сбоку шкафов, набитых сценарными папками. Сидел он, наклонив голову со свисающими черными волосами, и меж раздвинутых колен нервно тискал, мял узловатыми руками кепку – и нечто назойливое заставило Крымова внимательно взглянуть на парня, рывком вскинувшего голову. Он мигом узнал эти крепкие щеки, крепкий лоб, большие губы, на которых тогда, в тот день, была кровь, и тогда он, этот парень, оборачиваясь, дыша толстой шеей, слизывал языком кровь... Это был шофер Гулин. Его воспаленные, с красными белками глаза злобно рыскнули мимо Крымова, желваки буграми затвердели на скулах. И Крымов, загораясь, вспомнил свое бессилие в ожидании машины и оправдательное бормотание шофера, его задушливый хрип, когда он, жалкий, несопротивляясь, размазывая кровь по лицу, отступал боком к раскрытой дверце, где виднелись в пепельнице окурки.

«Значит, он на прием к Молочкову?» – мимолетно определил Крымов.

И не справившись с соблазном бесовской игры, подмываемой темной, знакомой когда-то в молодости силой, вдруг взрывававшей в нем порой послевоенное благоразумие, он взял Гулина за потный подбородок и, приподняв его, с ледяным спокойствием, какое появлялось в моменты крайней решимости, спросил негромко:

– Ну что, ненавидишь антиллегенцию, парень? Покрутил бы их, миллионщиков, бездельников, развратников, ежели бы твоя воля?

– А-а! – Гулин вырвал подбородок, вскинувшись, подобно взнузданной лошади, и выражение ненависти плеснулось в его зрачках, он выговорил осипло: – Не приставайте, свидетели есть! – И ткнул пальцем в сторону обомлевшей машинистки. – Обратно избить хотите?

– К сожалению, не могу позволить себе запретного мальчишеского возмездия, – сказал Крымов и вышел в коридор, пугаясь того возможного удовольствия, какое, наверное, испытал бы при этом.

За воротами студии он подошел к машине, необъяснимо почему думая о том, что при всех минусах, в общем-то, много лет был баловнем судьбы, хотя сдавал каждую готовую картину с задержками, с длительными диалогами в начальственных кабинетах, вызывая время от времени тревожный переполох в Комитете по делам кинематографии, опасаясь принимать фильм без необходимых поправок. Вместе с тем его раздражали студийные мальчишки с медальонами на волосатых грудях, значительно и умно бормочущие в кулуарах о его новаторской левизне, и не менее раздражал ядовито доползавший шелестящей змейкой шепот о его взбалмошной неуправляемости. А он, в разнообразных общениях познавший и левое, и правое лукавство, не желал слыть ни левым, ни правым, ни управляемым или неуправляемым, стараясь оставаться, может быть, не в меру открытым и в меру нежным, особенно в прошлых картинах о юности своего поколения, о войне с ее оголенной скорбью потерь и, наверное, в последних фильмах о семидесятих годах с их микробом потребления, вялой радости, нравственного равнодушия, сиюминутных забот и безлюбой любви.

Но, Слава Богу, он должен был сейчас ехать на дачу, соскучившись по детям, по Ольге, ее тихому взгляду снизу вверх, медлительному ровному голосу, который порой умилял его,

по ее стыдливой близости, шутивому вопросу после первого поцелуя: «Ты все-таки не очень забыл меня?» И он тоже несколько шутивно отвечал ей, что погибал в ностальгии, тосковал по чадам и домочадцам, в первую очередь по Таньке, смешливой и озорной дочери, младшей в семье, откровенной его любимице. Он был спокоен в отцовском чувстве к сыну Валентину, студенту третьего курса Института кинематографии, не без отцовского совета пошедшему по его стопам, однако малоразговорчивому, замкнутому, порой непримиримому по отношению к ностальгии «предков» и их искусству – то есть освобожденному от всякой сентиментальной чепухи, отжившей и устаревшей в век техники и прагматизма. Молчаливая отчужденность сына, его нелюбимость не сближали их, не создавали родственной взаимности, дак тому же Крымов из-за всегдашней загруженности работой и отсутствия воспитательных способностей не искал особенно близких точек соприкосновения и считал сына вполне современным парнем, но заурядным будущим оператором, лишенным художественной жилки, исповедующим приемлемую одним разумом, достойную времени формулу: надежда мира в технологической цивилизации.

По дороге на дачу Крымов заехал на московскую квартиру, и, когда вошел в душную тишину и увидел столбики солнца сквозь щели штор в духоте комнат, летняя заброшенность квартиры повеяла сиротством, и уже не захотелось быть здесь одному, как в день приезда. Он выпил рюмку коньяка, чтобы снять головную боль, положил под язык валидол, чтобы отбить запах (на случай непредвиденной встречи с ГАИ), взял чемодан с сувенирами, которые всегда за границей покупал «своим женщинам», и спустился к машине.

Глава шестая

В дачном поселке, скрытом в буйстве июльской зелени, он остановил машину возле калитки, затененной липами, вылез и тут же через штакетник увидел в саду между яблонями три расставленные шезлонга и свою дочь, свою любимицу Таню, девятиклассницу, коротко подстриженную под мальчика. В спортивной майке, открывавшей ее загорелые плечи, она лежала в траве на коврике, грызла яблоко, болтала босыми ногами и читала. С просиявшим лицом Таня обернулась на скрип калитки, сейчас же гибко вскочила и, швырнув в кусты огрызок яблока, завизжала радостно:

– Папань, с приездом, ур-ра! Привет и салют!..

– Здравствуй, – сказал Крымов и пошел в хлещущей по ногам траве навстречу дочери, бежавшей к нему. – Ну здравствуй, чертенок, пигалица моя, – проговорил он, целуя ее в волосы, пахнувшие солнечным теплом. – Слушай, Татьяна-сан, я тебя вроде бы не видел целый год, и нос у тебя облупился до невозможности, и вся ты обгорела до негритосности! Что, целый день на солнце?

– Ах, папашка-букашка, я так рада, так рада, я по тебе соску-училась! – весело говорила Таня с той принятой между ними доверчивостью дружбы, которая более всего была ценима Крымовым. – А ты похудел в своих заграничах и стал какой-то очень изящный и бледный! А мы с мамой читали в «Советской культуре», что твой фильм получил приз и был показан в переполненном зале. Так, а? Ничего не приврали работники пера? А то ведь они умеют так перестараться, что хоть караул кричи!..

– В данном случае – нет, – ответил Крымов, ощутив в себе под веселым взглядом дочери счастливую ироническую легкость, наслаждаясь ее озорным голосом, умиляясь ее задорным обгорелым носом. – Зал был битком набит, кассы поломаны, пожарники помяты, зрители сидели, лежали и стояли, кто-то висел на портъере, самые ловкие устроились на люстрах и во все горло кричали то ли «шайбу!», то ли «режиссера с поля!»

– Ну вот, начинается! – воскликнула Таня с осуждающим восторгом единомышленника, быстро уловившего знакомый прием. – Опять, папа? Не поймешь у тебя, где шутка, где серьезно. Подожди, мамы нет, она на Солнечной поляне работает. Садись в шезлонг, вот сюда садись!

Она потянула его за руку, посадила лицом к солнцу, сама села напротив, откинулась в шезлонге, таинственно взглядывая из-под мохнатых, белесо опаленных солнцем ресниц.

– Папа, я хочу у тебя спросить – правда или нет? Хотя я ни капли не верю...

– Чему именно, дочь?

Таня наморщила нос.

– Ужасно глупые слухи, от которых уши вянут. Вчера на пляже ко мне подошла эта толстуха Симка Анисимова, крокодилица известная, ну, дочь бывшего твоего оператора, который сейчас дачу в нашем поселке купил, и ехидно так говорит: «Ты знаешь, что с твоим отцом?» – «Нет, а что ты знаешь?» – «Значит, не знаешь, что уже все знают?» – «А в чем дело?» – спрашиваю. А она: «Ну ничего, все узнаешь, когда надо будет!» И глазки блестят, как у ведьмочки. Потрясающе! – Таня хмыкнула. – Я, конечно, назвала ее кухонной скалкой, но кто-то глупые слухи выдумывает...

– Какие, дочь? По-моему, ты не договорила.

– Будто у тебя в съемочной группе погибла молодая актриса... и будто ты к ней был неравнодушен, – сказала Таня и покраснела, независимо потрянула головой, протестуя и не соглашаясь. – Всем ясно: слухи распространяют кухонные скалки...

– Танька ты моя милая, – сказал Крымов, видя на лице дочери искренность, неумение лгать, озабоченность защитой семейной чести, которую он, ее отец, не способен был уронить.

– Вот уж, называется, наговорила! Да это же слухи, папа! – воскликнула озабоченно Таня и хлестко шелкнула себя по коленям. – Ничего не слушай! Я тебя сейчас удивлю и развеселю! Знаешь, у нас скоро свадьба – наш Валентин Вячеславович, студент третьего курса, знаешь что? Выходит замуж. То есть я всегда путаю... Ха-ха, просто женится. Это еще почти тайна, в газетах об этом еще не шумели, интервью не брали, но, но, но...

– И что «но», Таня?

– Но все идет к этому. Мама в панике. Просто невероятно! Как только жених приезжает со своей избранницей, мама себе места не находит, берет свой мольберт – и на целый день на этюды. Не приходит к обеду, в лесу, наверно, питается ягодами. Ужасно переживает, а мне смешно, хотя виду не показываю. Нашел себе... непревзойденную Джульетту – утя, утя, утя!

Крымов уловил в ее голосе плохо скрытую ревность, но она тотчас засмеялась так звонко, так естественно и, вся загорелая, с льняными волосами, заискрилась юностью, беззаботным здоровьем, а его на секунду сжало необъяснимое пронзительное чувство опасения за нее: случись что с Таней – и ничто не удержало бы его на земле.

– Утя? Ее звать Утя? – спросил он вполголоса, непроизвольно связывая это секундное чувство опасения с тем страшным июньским днем и холодом мокрых светлых волос на его щеке.

– Утя, утя, утя, – смешливо повторила Таня и показала поцарапанными пальцами, будто вытягивает свой облупившийся нос – Непонятно? У нашей невесты утиный носик, такой остренький носик... и башмачком, его так и хочется потрогать, я прямо удержаться не могу, но она – знаешь? – с самомнением. Да ты ее увидишь. Студент с утра ее на пляж повел. К обеду придут.

– Ты не слишком ли к этой уте? А?

– Ни капли. Мне интересно за ней и Валентином наблюдать. Он просто спятил, изображает индюка, а она – павлинху, даже мизинчик оттопыривает, когда стакан берет. Утю звать Людмила. Вот тебе – Руслан и Людмила. До невозможности юмористично! Ранние произведения Антона Павловича Чехова. А мама – в ужасе.

– Я соскучился по тебе, Танька, – сказал ласково Крымов и встал с шезлонга. – Что ж, ясно. Пойду к себе. А ты открой чемодан и выбери подарок. По-моему, тебе понравятся вьетнамки на шнурках.

В кабинете были распахнуты окна, дверь на балкон, и мягко ходил садовый воздух.

Он оглядел свою мансарду и сразу заметил постороннее вмешательство, чужое присутствие в ней.

На диване, где он любил лежать у раскрытого окна, глядя на закат, на тихое угасающее золото на березах, предаваясь томительной власти вечерних мыслей (как определяла это Ольга), сейчас белели подушка и простыня, наполовину прикрытые одеялом – наспех прибранная постель, – возле на спинку стула был небрежно повешен женский халатик; коричневая сумка с ремнем забыто брошена на коврик близ письменного стола. Ему непривычно было, что его проигрыватель раскрыт, книги на полках кем-то потревожены, на краю журнального столика отблескивало на подставке круглое зеркальце, а рядом лежали тюбик губной помады, плоская коробочка с пудрой, женская расческа. И то, что в его кабинете ночевала, по-видимому, невеста сына, задевало Крымова простодушным и бесцеремонным вторжением в его обжитые владения, где неизменно царствовал выбранный им и заведенный для работы порядок.

«Значит, так уж далеко зашло, если она ночует на даче?» Он снял пиджак, походил по кабинету, насквозь светлому, всегда покойному его убежищу, постоял против журнального столика, поглядывая на зеркальце, в которое утром, вероятно, смотрелась невеста сына, с иро-

ническим удивлением отметил, что зеркальце ее поставлено на кипу вариантов режиссерского сценария, сказал вслух: «А это трогательно», – и вышел из кабинета.

Перед тем как спуститься вниз, Крымов заглянул в комнату жены, маленькую, уютную, куда ему приятно было заходить, в мир ностальгии по прошлой Москве двадцатых и сороковых годов, ныне ставшей холодным многоэтажным городом, потерявшим прежнюю душу.

Здесь, в уголке Ольги, было то, что любила она: плавность линий и изгибов, стройность, округлость в архитектуре, распространяющей тепло, успокоение, радость силуэтов, – рисунки и фотографии Пречистенского бульвара, Храм Христа Спасителя с видом на Замоскворечье, Сухарева башня с белыми узорами, ярусами и открытой галереей, весеннее Зарядье, его утренние переулки, вековые часовни и Ольгин московский пейзаж, весь в ледяной розовости зари, с обросшим инеем первым трамваем на пустынной улице, а рядом пейзаж дачный, грустно влекущий настроение сумерек: за окном голубеет зимний воздух, синееет снег на покатых крышах меж черных елей, и кое-где уже теплятся огоньки в домах.

Всякий раз Крымова овеивало здесь нетронутой чистотой, исходившей от старых фотографий, пейзажей на стенах, от чертежного стола с лампой на гибкой ножке, от тюлевой занавески до пола, в слабых волнистых движениях которой было что-то женственное, опрятное, так же как и опрятно застеленной кровати Ольги.

Когда пятнадцать лет назад строили дачу, эту комнатку отделали первой и не в Москве, а на даче встречали Новый год, возбужденные строительными хлопотами, деловыми разговорами с плотниками, исполненные самых радужных надежд на будущее, уповая на то, чтобы летом жить, работать в саду, принимать гостей, разумеется, только за городом. Но та первая встреча Нового года на даче была случайной и особенной, потому что, задержанные обильной метелью, завалившей дороги, они не поехали в Москву и, отрезанные снегопадом, остались вдвоем в недостроенном доме, скипидарно пахнущем холодными стружками на лестнице и воском свечей, оттаявшей хвоей в Ольгиной натопленной комнате, сотрясаемой вьюгой целый вечер. И все, что тогда делала, говорила Ольга, было наполнено ее любовью к нему: в ее безобманых, бархатных глазах, подставленных его взгляду, проходила то улыбка, то вырастала робкая нежность, когда он касался ее, своей жены, уже родившей двоих детей, но такой же нерешительной, как в девическую пору, отчего-то стеснявшейся его нетерпения.

Он срубил в лесу елку, принес ее вместе с металлическим духом снега, сплошь завьюженную, и Ольга стала наряжать ее нарезанными из остатков обоев гирляндами, он же мешал ей, топтался позади, острил, советовал, видел ее наклоненную гладко причесанную голову, тугой узел волос на затылке и то и дело брал ее за плечи, поворачивал к себе. А она, замороженно глядя ему в лицо, говорила растерянно:

– Это год лошади, поэтому тебе надо надеть коричневый костюм.

– Ах так, Оля? Обязательно коричневый? К несчастью, забыл свой гардероб из пятидесяти смокингов в Буэнос-Айресе в апартаментах отеля «Хилтон». Пустяки. Дам телеграмму.

– Какая забывчивость! Что же делать? Сбруя ведь коричневая, в общем-то. Знаешь, какой ритуал? Нужно, чтобы было надето на нас что-то кожаное. И чтобы висела на мужчине золотая цепочка. Нагни голову. Я надену тебе свою. – Она сняла с себя и застегнула на его шею крошечную цепочку, сказала озабоченно: – А мне дай твой коричневый ремень от брюк. Я подпояшусь. На столе должна стоять игрушечная лошадка. В блюдечке перед ней – овес и кусочек сахара. Еще что? Ровно в двенадцать шампанское пить нельзя. Да у нас и нет его. Как хорошо! Только коньяк или водку. Это, Слава Богу, у нас есть. За минуту до полуночи открыть дверь и выпустить старый год. Ровно в двенадцать войдет Новый год. Закрыть дверь. И тогда надо выпить за него. Давай так встречать Новый год, по лунному календарю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.